

Даниил Гранин

ПРЕКРАСНАЯ УТА

Ночью в замке

Однажды, темной зимней ночью... Давным-давно я мечтал начать с такой фразы. Однажды, темной зимней ночью во дворе замка...

И однажды, и замок — все это не придумано, а действительно было со мною, когда я жил в старом-престаром замке, над воротами которого был высечен каменный герб и год — 1326-й!

Замок стоял на лесистой горе, настоящий замок с башнями, переходами, толстыми стенами. Он мог вполне сниматься в кино или быть музеем. Но это был скромный замок, он был доволен уж тем, что сохранился и пережил многих своих сверстников.

Итак, однажды ночью я проснулся от какого-то длинного шелестящего звука. Потом наступила тишина. Я лежал с открытыми глазами, прислушиваясь. На стене, обшитой досками, висел старинный портрет молодой женщины. Ее называли Вдовой. Она была одной из владелиц замка лет триста назад. Судя по глазам и улыбке, это была довольно заводная бабенка. У нас с ней установились неплохие отношения. Но сейчас ее улыбка показалась мне подозрительной. И звук, который повторился, непонятный шелестящий звук посреди ночи. Он донесся со двора. Я подошел к окну. Маленький двор замка был пуст. Граненый фонарь с угловой башни высвечивал темные плиты и глухие корявые стены с узенькими окошками. Я без особой надежды смотрел на чистенький двор — право, такой старый замок мог бы порадовать каким-нибудь привидением или приключением. Мне стало немного грустно оттого, что я ни черта не боялся, даже ночью в таком замке.

Когда я приехал сюда и с трудом отворил кованые, тяжелые ворота и мне стали показывать каменные эскарпы и гласисы, я почувствовал в своей вежливой улыбке привкус военной снисходительности — я-то знал, как дырявились такие стены от стопятидесятимиллиметрового.

Я оделся и вышел во двор. Чистенькое немецкое небо было аккуратно прибито обойными шляпками звезд. Все обитатели замка спали, и птицы еще спали, был тот час в конце ночи, когда все всюду спят. Я чувствовал себя единственным бодрствующим. Я ждал, зачем-то подстерегая тот звук. И вдруг я перестал понимать, зачем я здесь; Зачем я один, ночью посреди Германии стою безоружный, вроде бы свободный, не в плену? Я в Германии и не на танке? Что скажут в полку? Что скажут мои ребята, мой экипаж? Если бы они увидели меня сейчас, они меня бы заподозрили и стали бы допрашивать. А как бы я мог объяснить им? Почему я не стреляю? Чего я тут ищу? Спокойно сплю, сижу в пивных, здороваюсь, смеюсь...

Я вдруг удивился своей жизни, своей судьбе. Давно уже во мне не просыпался тот, который умел видеть меня со стороны и безмерно удивляться тому, что творится со мной. Я очень люблю его, потому что с его появлением жизнь становилась чудом. И то, что я уцелел на войне, и после войны, и до сих пор живу, и кое-как здоров, и могу видеть звезды, — все, все это было чудом. Плохо было то, что являлся он ко мне редко, все реже...

Больше всего мы размышляли о будущем — на фронте. Мы всячески рассматривали будущее. Мы рассуждали о том, какими храбрыми мы станем после войны, какие мы наведем порядки, как нам будет все нипочем, как мы придем в Германию. То, что мы сюда придем, мы точно знали, еще сидя под Пушкином, в мелких, каменно замороженных окопах. Часть, которую мы сменили, закопалась кое-как, так что местами ползать в окопе надо было на карачках, чтобы не подстрелили. А углубиться мы не могли — земля промерзла. Мы материли их крест в крест, штык не брал эту землю. В землянке ходить можно было только согнувшись в три погибели. Несколько месяцев ходили лишь согнувшись. Мы разучились стоять в полный рост. Нам негде было выпрямиться, кроме как на нарах. Мы не знали, удастся ли отстоять Ленинград, мы знали лишь, что мы придем в Германию.

А про то, как мы будем дальше жить с немцами, не думали. И, наверное, не только мы. Лишь сейчас человечество начинает учиться размышлять о будущем. Осваивать это искусство или науку — не знаю, как следует это называть. Наверное, все же науку. Прогнозы погоды — наука? История — наука? Будущее станут изучать, рассчитывать «с точностью до...». Институты футурологии. Лаборатории, где будущее разглядывают в телескопы и микроскопы, опускают его в пробирку, капают на него кислотой, нюхают. Нет, не годится, попробуем иначе. «Доктор футурологических наук, посмотрите мою руку, что меня ждет здесь, найду ли я...»

Снова тот же звук, уже рядом, я быстро обернулся на него и поймал — это соскальзывал талый снег с крыши. Пласты снега скользили по аспидно-черному шиферу, что-то пришептывая, вздыхая. Я подумал, что так же скользил снег по этим черепицам и двести, и триста лет назад, и тот же шелестящий звук будил гостей замка в такие же теплые мартовские ночи, и были те же звезды, и двор этот был тот, та же башня, тот же слоистый черный камень. Может быть, и я тот же, во всяком случае, я сейчас видел и чувствовал так же, как тот, кто стоял здесь триста и четыреста лет назад. Чем я сейчас отличался от него? Знаниями? Да, я знал не о восковых свечах, не о масляных лампах, а об электричестве, вместо меча я знал автомат, просто у меня были другие знания, а в остальном мы в эту минуту были схожи.

Две с лишним тысячи лет назад уже жил Архимед, а затем Платон, а тысячу лет назад жил Авиценна, а триста лет назад — Ньютон. Неподалеку от этого замка был Наумбургский собор и в нем статуи, сделанные неизвестным мастером в XIII веке. Имя мастера не сохранилось, а имя женщины, которую он лепил, сохранилось. Ее звали Ута. Она придерживает сползающий плащ, рука ее закрывает воротником часть лица знакомым жестом, как это делала одна женщина, которую я знал. Только плащ у нее был нейлоновый, и стояла она у стоянки такси. Мы прощались, и поэтому она казалась мне такой прекрасной, и такой осталась в памяти. И лицо Уты было той же красоты и нежности, которую может выразить либо поэзия, либо фотография, ничем другим, даже музыкой, не рассказать про ее лицо. И я, знающий про электротехнику, и про кибернетику, и про то, что Вселенная наша расширяется, я стоял в холодном соборе, замирал от восторга, чувствуя себя счастливым и ничтожным перед этой красотой точно так же, как четыреста или пятьсот лет назад.

И картины Дюрера тоже были для меня гениальными, как и для его современников, и его иллюстрации к поэме Себастьяна Бранта «Корабль дураков», и сама поэма:

Душеспасительные книжки

Пекут у нас теперь в излишке,

Но, несмотря на их число,

Не уменьшилось в людях зло...

«Корабль дураков» все еще плывет, какая разница, паруса на нем или газовые турбины...

Прекрасная Ута сидела у прялки в яблочном зале замка, ожидая своего Эккехарда, а может, и не ожидая, просто смотрела на лесистые горы, и проезжие рыцари и паломники любовались ее удивительной красотой. В зале горел камин. Туман скрывал маленькие городки, лежащие внизу, только острия соборов поднимались над молочным разливом тумана. Какой сейчас век? Как мне узнать, какой век? Это было не так-то просто, мы с этим замком словно заблудились в столетиях. Мы перемещались по оси времени вверх-вниз, скользили, как на лифте, по этажам истории — XV, XVII, XIX... и ничего не менялось ни в замке, ни в горах и даже в маленьком, лежащем внизу Лойтенберге. И все время на меня смотрело прекрасное лицо Уты и улыбалась скуластая, озорная ее сестра Реглинда, но сердце мое сжималось от страха, я боялся, что кто-нибудь из моих ребят или я сам бабахнем по этому собору и Ута разлетится в пыль. Потому что тогда, в сорок четвертом, никакая Ута на меня бы не подействовала. Я видел, как они разрушали пушкинские дворцы, обстреливали Эрмитаж.

Школьные уроки

С трудом отворив тяжелые ворота, я вышел из замка. Светало. По каменной старой дороге я начал спускаться вниз, время от времени оглядывался на замок, который становился все неприступнее, похожим на плохую декорацию. Я шел вдоль классического немецкого ручья, мимо классических гор, по которым ходили немецкие студенты, Шуберт, Тиль Уленшпигель, мейстерзингеры, мимо лесов, в которых невозможно заблудиться, где стоят кормушки для птиц, где в самых глухих местах висят стрелки с надписями и стоят беседки.

.....светлеет,

Недалеко до утра,

Громче шум ручьев и елей.

Просыпается гора.

Это из Гейне. И вообще весь этот пейзаж — и туман, и лес, и ели, и замок — все описано уже у Гейне, в его «Путевых картинах», так описано, что нет смысла что-либо еще писать на эту тему.

«Путевые картины» мне кажутся идеалом прозы — в них свобода, о которой всегда мечтаешь, — свобода от сюжета, от хронологии, от географии. Эта проза свободней, чем стихи. О чем она? В том-то и секрет ее, что она ускользает от подобного вопроса. Обо всем, но не пресловутый поток сознания, а скорее поток жизни, поэзии, размышлений, фантазии; поступки и воспоминания, описания и исповедь.

Если бы я сумел написать такую свободную прозу — не втиснутую ни в какие рамки сюжета, и композиции, и темы, но в том-то и беда моя, и не только моя, что мы всегда слишком хорошо знаем, заранее знаем, о чем мы пишем.

Гейне открылся мне, как это ни странно, на школьных уроках немецкого языка. Обычно

школьный немецкий прочно отвращает от языка; и без того немецкий, с его путаницей глаголов — они сплетаются в немыслимый клубок, — с его кошмарной грамматикой, внушает ужас любому здоровому человеку. Но у Марии Генриховны был свой метод: она заставляла нас учить стихи. Когда я читал стихи, язык преображался, в нем появлялась музыка, я не искал ударений, слова выговаривались сами. Больше всего мы любили слушать, как читала Мария Генриховна. Рыхлая старушка с маленьким красным, переходящим в лиловое носиком, она менялась, читая Гейне. Мудрая добрая улыбка выявляла из ее морщин ту, молоденькую девушку... Это бывает редко, чаще встречаются лица молодых, по которым можно представить, какими они станут в старости.

Мария Генриховна была первым немцем, которого я знал. А следующим был пленный унтер. Шофер. Мы взяли его в конце июля сорок первого года. Меня позвали, чтобы я помог переводить. Он был молодой, высокий, белокурый, из-под расстегнутого мундира у него выглядывала белоснежная рубашка, сапоги у него сверкали, и раструбы кожаных перчаток торчали из-под ремня. Мы были с ним одногодки. Он стоял передо мной, расставив ноги, чуть покачиваясь, глядя куда-то поверх наших голов, на верхушки деревьев. Я стал спрашивать его, он медленно, сощурился, опустил взгляд на меня, усмехнулся и оглядел меня сверху донизу так, что мне стало стыдно — я почувствовал свои обмотки, драные ботинки б/у с веревочными шнурками, мою грязную гимнастерку, а главное, мои бутылки с горючей жидкостью, и старую винтовку, и гранаты РГ — чепуховые гранаты, от которых не было никакого толку, мой брезентовый подсумок, а проще — торбу с патронами. Я до сих пор помню возникшее под его взглядом ощущение тяжести этой торбы и своей неуклюжести, каким я был несолдатом и каким он был солдатом.

Да, любому была видна разница, он был солдат, а мы ополченцы в неумело свернутых скатках, мы все выглядели какой-то толпой.

Это был июль, шел первый месяц войны. Мы еще не успели как следует прийти в себя, ненависть наша еще была смутной, невыношенной. Я разглядывал этого парня скорее с любопытством, чем со злобой. И когда я начал складывать по-немецки фразу, я сразу вспомнил свой класс, Вадима, который всегда подсказывал мне, Марию Генриховну.

Он был шофер, то есть рабочий класс, пролетарий. Я немедленно сказал ему хорошо выученную по-немецки фразу — «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Со всех сторон мне подсказывали про социализм, классовую солидарность, ребята по слогам втолковывали немцу — Маркс, Энгельс, Тельман, Клара Цеткин, Либкнехт, даже Бетховена называли. От этих имен мы смягчились и были готовы к прощению, к братанию. Мы недавно видели сцены братания в звуковом фильме «Снайпер». Согласно фильму и учебникам обществоведения, и нынешний немец, наверное, должен бы покраснеть, опустить свои светлые ресницы и сказать с чувством примерно следующее:

— Буржуазия, то есть гитлеровская клика, направила меня на моих братьев по классу. Надо повернуть штык, то есть автомат, против собственных эксплуататоров, — что-то в этом роде.

Нас этому учили. Мы верили, что пролетариат Германии не станет воевать со Страной Советов. Мы честно пытались пробудить классовое сознание этого первого нашего немца.

Но он не опускал своих светлых ресниц и не краснел, он недоуменно похлопал своими светлыми ресницами и наконец, поняв, о чем идет речь, рассмеялся и сказал:

— Вы будете уничтожены.

— То есть как это?

— Все. Все, кто не подчинится.

На него закричали. Кто-то сунул ему под нос кукиш. Но он и глазом не повел.

— Таков приказ фюрера, — сказал он.

Он нисколько не испугался, он смотрел на нас без интереса, как на покойников. Потом он замолчал, выдул сигареты, закурил и, когда я стал задавать ему еще какие-то вопросы, молча выпустил дым мне в лицо.

Я тогда еще не курил, я закашлялся, он засмеялся, — может быть, со стороны это и было смешно, так же как смешны были наши слова к нему.

Очень хотелось ударить его. Мы все были заводские, и по воскресеньям где-нибудь за Красненьким или в Шереметьевском парке у нас бывали драки, тут же все стояли, и никто не смог его ударить. Мы еще на что-то надеялись. Может быть, мы плохие агитаторы, не нашли путь к его сердцу. А может быть, он социально темный, одураченный нацистской пропагандой. Главным нашим чувством в те дни было чувство обиды, оскорбления. Мы не соединяли немцев с фашистами и с теми солдатами, которые вторглись в нашу страну.

Разная война

А через полгода я лежал под Пушкином и смотрел в оптику за немецким дотом, утром оттуда выходили солдаты, и я надеялся подстрелить хотя бы одного-двух, прежде чем меня засекут. Единственное тогда, что мы могли, — это охотиться, терпеливо ждать, пока в ложбине покажется сизая шинель. Убей его! Нужно было неподвижно лежать целый день, лишь с вечерней темнотой я мог уползти к своим. Весь день, коченея и обмораживаясь, я прятался в снежной траншее ради того, чтобы убить немца. Где была тогда прекрасная Ута?

Мы шли по Марсову полю с Клеммом Кристенсом и его приятелем. Я познакомился с Клеммом в Мельбурне, а теперь он приехал в Ленинград. На Марсовом поле росла картошка, то есть сейчас там росли цветы, а я рассказывал им про картошку. Как в Летнем саду росла картошка. А вокруг Медного всадника — капуста. Тогда, летом сорок второго года, повсюду в Ленинграде, в парках, в скверах, росли картошка, лук и капуста. Австралийцы ахали, качали головами, и тогда приятель Кристенса сказал:

— Не понимаю, почему вы не сдались, зачем было обрекать жителей на голодную смерть? Столько людей погибло. И город разрушили. Какой в этом смысл?

Я впервые слышал такое. Наверное, слишком явно перекошилось мое лицо, потому что приятель Кристенса отступил. Клемм крепко взял меня под руку.

— Он не воевал, — сказал Клемм.

Его приятель был смущен, простодушие его было вполне искренне, он недоумевал, с чего это я так расвирепел. И даже Клемм, человек умный, тоже не все понимал, и я подумал, что оттуда, из Австралии, им до сих пор трудно постигнуть дух нашей войны с немцами. Им не объяснить, что уже к октябрю сорок первого года мы понимали, что если немцы возьмут Ленинград, то город будет уничтожен. И все жители будут уничтожены. Тогда мы еще не знали приказа Гитлера о разрушении Ленинграда: от города не должно было остаться ни одного дома — поле, покрытое щебнем и золой, которое зарастет лесом. Приказ штаба фюрера от 7 октября 1941 года, подписанный Йодлем: капитуляции Ленинграда не принимать, беженцев из города гнать обратно огнем, бомбардировками и артиллерийским обстрелом сровнять город с землей.

Документ этот нам не был известен, но мы уже чувствовали, что такое фашизм.

А беженцев из города не было.

Наша дивизия отступала, оставляя деревни, названия их не отмечены в сводках Информбюро — Танина гора, Самокражи, Уторгошь. И справа, и слева заливало немецкой солдатчиной — Кингисепп, Луга, Псков. А в газетных сводках появлялись города моего детства — Новгород, Старая Русса, а между ними были тоже мои деревни и полустанки — Кневицы, Замошье. Помню, как я вздрогнул, услышав по радио — Лычково, — значит, и оно тоже. Ничего не оставалось. Никакой России, моей России, которую я знал, в которой я жил. Тогда Ленинград, один Ленинград и еще Москва, где я был несколько раз. И вокруг Ленинграда уже не было ни Петергофа, ни Гатчины, ни Павловска.

Ленинград был мой дом, и дальше я никуда не хотел уходить, даже если бы мог, — вот в чем дело, приятель Клемма.

Австралийцы, с которыми я встречался в Австралии, — славные ребята. Там в каждом городе есть военные музеи и мемориалы. Красивые торжественные здания, очень хорошо сделанные, с памятниками, с именами погибших солдат, с приспущенными знаменами. Такое впечатление, что Австралия — весьма воинственная держава, как будто история ее полна войн.

Белл Дэвидсон воевал в эту войну, кажется, с японцами. Мы сидели с ним у Алана Маршалла и толковали о войне.

Белл Дэвидсон сказал:

— Война — скучное занятие. Нигде мне не было так скучно, как на войне. Мы дошли от безделья и скуки.

Я удивлялся. Может, то была другая война?

Если бы Дэвидсон понимал по-русски, я бы просто выматюгался. Бывают случаи, когда самое милое дело — выругаться.

— Нет, нам не было скучно, — терпеливо сказал я, — видите ли, дорогой Белл, мы воевали с фашистами, и на своей земле. Они заняли наши города, нашу землю.

Прошло каких-то двадцать лет после войны, и приходилось рассказывать про такие вещи.

Алан Маршалл, тот выругался. Алан совсем не воевал, но зато он был в Советском Союзе и в Германии, и для него понятие «скучная война» звучало кощунством.

Зачем спустя двадцать лет, где-то в Австралии, мы писатели — ни один из нас не пишет о войне, — говорили об этой старой войне, спорили, ссорились? Я не хотел о ней вспоминать, меня куда больше интересовала Австралия, интересовал Белл Дэвидсон — превосходный писатель и наш друг, один из любимых моих писателей, Алан Маршалл, его дом, хозяйки его дома — две яростно добрые женщины, — сестры Алана, его сад, поразительная судьба Алана, детские рисунки, развешанные в его кабинете, да мало ли что. А в Пакистане на кой черт мне нужны были разговоры о немцах, о гитлеровцах, в этом таинственном для меня городе Карачи, где по улицам между роскошными машинами бредут верблюды, запряженные в телегу, где мчатся авторикши с колясками, разукрашенными мишурой, стеклярусом, как некогда наши карусели. В зеленом саду отеля бесшумно скользили стройные сарацинки в белых и розовых сари, официанты несли большие блюда — бхуджи и медные кувшины — лота, так звучно называли их. Мне хотелось узнать о кастах, о нищих, об Упанишадах, о борьбе с чумой. Вместо этого мы говорили о войне с Германией.

Я не начинал этого разговора, я избегал его, но всякий раз он возникал сам по себе.

Однажды мне показалось, что этих разговоров скопилось слишком много, лучший способ отделаться от них — написать что-либо, например, очерк. Но почему-то очерк не получился. После войны я четыре раза приезжал в ГДР и всякий раз, возвращаясь, хотел написать о своей поездке. Не путевые картины, а о том, как бывший солдат приехал в Германию. Не бог весть как оригинально, и чем дальше, тем более избитой становилась эта тема. Я начинал и бросал где-то на половине. А казалось бы, чего проще — советский солдат среди тех, кто стрелял в него и в кого стрелял он и промахнулся. Встречи промахнувшихся.

Мне было бы легче, если б я мог считать приятеля Клемма Кристенса сукиным сыном. И если б я мог в чем-то заподозрить Белла Дэвидсона. И того редактора газеты в Карачи, который на приеме стал доказывать, что мы не имеем права запрещать фашистскую литературу у себя. Если мы свободная страна, чего мы боимся издать «Майн кампф» Гитлера и всякие записки фашистов.

Они знали про нашу войну главным образом из книг Александра Верта, которые переведены на многие языки. Я читал Верта, это честные книги, он провел все годы войны у нас, английским корреспондентом, он знает многое из того, что я, например, не знал, но он и не знает многого из того, что мы все знали, вернее чувствовали. Верт хорошо поработал, и книги его хорошо работают. Но неужели мы сами не могли написать о своей войне? Историю ее — не академическую многотомную, которую пишут военные специалисты и историки. А историю душевной нашей жизни в годы войны — как мы жили, как мы воевали, что думали, что чувствовали, как менялись мы и наши чувства. Наше чувство к Родине, наше понимание ответственности за судьбу мира, как менялось наше отношение к немцам. Ведь оно было разным в первый месяц, потом осенью, потом зимой сорок первого, и другим после Сталинграда, и другим после Курска. И когда мы вошли в Германию.

В 1966 году одна знакомая двадцатилетняя девушка, случайно прочитав военные статьи Эренбурга, была возмущена — как так можно писать о немцах:

«Немцы не люди... отныне слово „немец“ для нас самое страшное проклятие... Нельзя стерпеть немцев. Нельзя стерпеть этих олухов с рыбьими глазами, которые презрительно фыркают на все русское...»

— Как не стыдно!

— Кому не стыдно?

— Как ему не стыдно! Как не стыдно перед немцами. Так обзывать народ, нацию.

Она говорила это в 1966 году. А Эренбург писал в 1942 году, в августе, когда немцы шли на Сталинград, наступали на Северном Кавказе. Я помню, как нужны нам были статьи Эренбурга, ненависть была нашим подспорьем, а иначе чем было еще выстоять. Мы не могли позволить себе роскошь разделить немцев на фашистов и просто мобилизованных солдат, шинели на них были одинаковые и автоматы. Это потом, в сорок четвертом, сорок пятом, стали подправлять, корректировать, разъяснять, и то мы не очень-то хотели вникать. А тогда было так. Были стихи Симонова «Убей его!» и стихи Суркова, статьи Толстого, Шолохова, Гроссмана, — никогда литература так не действовала на меня ни до, ни после. Самые великие произведения классиков не помогли мне так, как эти не бог весть какие стихи и очерки. Сейчас это могут еще подтвердить бывшие солдаты и солдатки, с годами это смогут объяснить лишь литературоведы.

Ах, неужели сегодня кому-то наши чувства могут показаться заблуждением? Да, представьте себе, дорогой папаша. Неужели эта девушка, толковая, искренняя, выслушав все, скажет:

— И все же так нельзя было...

У нас было много ошибок в ходе войны, больших и малых, генералы пишут воспоминания и пересматривают ход операций. Под Харьковом, под Берлином. Но есть вещи, которые не следует пересматривать. Бессмысленно. Ненависть не может выбирать выражения, быть предусмотрительной, дальновидной и политической.

Томас Манн пишет в одном из писем, что сделка с дьяволом, легенда о Фаусте, — легенда, типичная для немецкого народа; типично желание вступить в такую сделку, и тут не может идти речь об обмане: дьявол обманул — на то он и дьявол. Фауст знал, что он имеет дело с рогатым, а не с ряженым, Фауст шел на все.

Ах, какой это был прекрасный, чистый лес. На повороте дороги между старыми елями открылся румяный Лойтенберг, весь сразу, с его площадью, где блестел тощий фонтан, с узенькими улочками, кузницей, старым-престарым разрисованным домом семнадцатого века, знаменитым тем, что он единственный спасся от старого-престарого пожара; с прекрасными его кондитерскими и одиннадцатью его пивными, которые мне предстояло обойти. Больше всего меня восхищало, что на две с половиной тысячи жителей есть одиннадцать пивных. Может быть, в одной из них я найду его... Ровный слой пены лежал на пиве, живописней и аккуратней, чем снег на рыжей листве дубов. Я спускался с горя легкий, и, если бы у меня не было памяти, я был бы сейчас полностью счастлив. Иногда я досаую оттого, что забываю свои ощущения, чьи-то слова и даже целые события из своей драгоценной жизни. Больше же частью память мешает мне, многого я не хочу помнить, воспоминания мешают видеть мне вещи такими, какие они есть. Тени, которые отбрасывают вещи, стали слишком длинные. Память надо чистить, как ящики письменного стола. Вместо того чтобы, подпрыгивая и напевая, спускаться вниз, любуясь этим ухоженным, воински одновозрастным лесом, я вдруг остановился и стал вспоминать другой лес, совсем непохожий польский лес, там, где была ставка Гитлера — «Волчье логово».

Кнопка

Бункера были взорваны и за двадцать лет заросли березками и лозой. Подальше был старый лес, мрачноватый, глухой, с густым подлеском, таким, наверное, он был и во времена рейха — маскировал главную ставку.

Когда советские войска вступили в Восточную Пруссию и стали приближаться к Чернику, тогда ставка была взорвана.

Чудовищные нагромождения серых железобетонных глыб — вот что осталось от главной ставки тысячелетнего рейха, от всей его ставки. Обломки взорванных сооружений, обломки с трех-, пятиэтажные дома, это всего лишь обломки, силой взрыва их раскидало, нашвыряло, вывернуло из земли, создав пейзаж фантастический, угрюмый, напоминающий следы какого-то мирового катаклизма, какой-то нездешней катастрофы. Никогда я не видел подобных развалин, развалины Берлина и Дрездена не производили такого впечатления. Там были останки человеческих жилищ, каких-то зданий, оставались понятные каркасы с оконными проемами, с перекрытиями, лестничными маршами. Тут же ничего человекообразного — рваные массивы сплошного бетона, перекорезанные прутья арматуры и опять треснувшие скалы железобетона. Вершины их уходили ввысь — отвесные стены, на которых видна геометрия швов и кое-где узкие проемы входов, ведущих вниз. Сами помещения ставки находились глубоко внизу, уходили в землю на несколько этажей — может, на пять, может, на шесть, сейчас это неизвестно. Это был целый подземный город, сложная система бункеров, с лифтами, кабинетами, залами заседаний, кухнями, спальнями — бункер

Геринга, бункер Гитлера, бункер штаба, бункер Кейтеля, еще чьи-то бункера. До сих пор с историей главной ставки связано множество легенд, тайн. Имеющиеся сведения скудны и часто противоречивы. Судя по некоторым данным, проектные работы начались чуть ли не с 1934 года, а в 1936-м здесь «организация Тодт» приступила к строительству. Знаменитые «работники Фрица Тодта», «команды Тодта», строители Атлантического вала. Нам рассказали, что проектировали сооружения ставки итальянские инженеры, они же создали рецепт этого, особой прочности, бетона, рецепт, до сих пор неизвестный. Итальянцев наградили и отправили самолетом в Рим, но в Альпах самолет разбился, и ни одного из тех, кто проектировал и первоначально руководил строительством, в живых не осталось. Все как в худших детективах. Озера, окружающие ставку, были использованы для системы затопления. В случае необходимости взрыв должен был уничтожить входы в бункера и затопить нижние этажи всех без исключения сооружений. Это и было сделано. Пока попытки как-то проникнуть в бункера, спуститься вниз не увенчались успехом. Ни с помощью аквалангистов, ни подрывников, ни саперов. Самое для меня примечательное было не в этом. А заключалось оно в том, что, значит, уже в тридцатых годах, пусть в конце тридцатых, ставка располагалась с расчетом на Восток, то есть на войну с Польшей и СССР.

Тейер де Шарден пишет по поводу эволюции: «Ничто в мире не может вдруг объявиться в конце, после ряда совершаемых эволюцией переходов, если оно незаметно не присутствовало в начале».

Еще в генах фашизма была запрограммирована война с нами. Это существовало в том наборе хромосом, из которого развивался фашизм. Предопределено заранее его природой.

И тут я услышал факт, пожалуй, еще более знаменательный. Историк, который показывал нам место, где было совершено покушение на Гитлера 21 июля 1944 года, — как Гитлер вышел из своего бункера и прошел в летний домик, как фон Штауфенберг пронес свой портфель с миной, — вдруг случайно обмолвился про дежурного офицера и пульт. Оказывается, с самого начала, с момента постройки «Волчьего логова», существовали дистанционный пульт и дежурный офицер, обязанный по приказу нажать кнопку, чтобы взорвать ставку. Представляете, с конца тридцатых годов он сидел у кнопки, этот офицер. Немецкие армии занимали Польшу, Чехословакию, Европу, перешли советскую границу, заняли Украину, подошли к Москве, а офицер сидел у кнопки. Под всеми этими бункерами, под всеми помещениями штабов, под планом «Барбаросса», под Герингом, Кейтелем, Гиммлером, Гитлером была заложена взрывчатка. И они знали, что есть кнопка и перед ней дежурный офицер. Снаряды падали на Невском, дымили печи Освенцима, Гитлер прогуливался под Винницей, в Крыму проектировался новый курорт для воинов рейха, а дежурство офицера у кнопки не прекращалось.

Обычно изучают, исследуют психологию Фауста, его трагедию, психологию Вагнера, Маргариты, но редко кого занимает психология Мефистофеля.

Дежурный офицер дождался, он нажал свою кнопку, заряды сработали, и вот я брожу среди железобетонных скал — развалин тысячелетнего рейха. Он, этот рейх, был рассчитан на тысячу лет, и тем не менее была кнопка. Ген кнопки, ген страха, неуверенности тоже входил в набор хромосом. Впрочем, понятие гена было крамольным. Врожденные качества не признавались. Возможно, надеялись на «влияние среды».

Бетон растрескался, из трещин растут березки, кусты, за двадцать лет природа славно поработала, корни делают свое дело, лучший бетон «Тодт-команд» не может устоять перед вульгарной травой. Неподалеку от бункеров ресторанчик, сюда приезжают автобусы экскурсантов, велосипедисты парочками, посмотрев, потрогав, похав, разбредаются и гуляют, лазают по развалинам, более не вспоминая о прошлом.

Обстоятельства сложились так, что я приехал сюда прямо из Бухенвальда. Наверное,

поэтому меня так обрадовала эта польская парочка, гуляющая среди бункеров Гитлера и Гиммлера. Девушка в голубеньких шортах прыгала по-козьи через расщелины железобетонных хребтов, хохотала. Историк выгонял мальчишек из развалин. «Безобразие», — говорил он, — чем вы занимаетесь, это вам не уборная!» Конечно, он был прав, но я бы тоже с удовольствием помочился на ставку тысячелетнего рейха. Не мешало бы иметь такое местечко на нашей планете, кроме всех музеев типа Майданека, Бухенвальда и прочих, где люди могли бы не только проклинать фашизм, но и помочиться на него.

Борьба с фашизмом была, может быть, первой в истории человечества всемирной заботой — заботой, объединившей народы обоих полушарий. С тех пор планета наша стала куда меньше и продолжает уменьшаться, и всемирных общих забот становится все больше.

Бруно Апитц поднялся на ступени памятника, начал произносить речь и заплакал. Он не хотел плакать, он готовился сказать какие-то очень важные слова, потому что это был очень важный митинг. У подножия памятника стояли писатели из разных стран — Пабло Неруда, Сароян, Джанни Родари, Астуриас.

Триста, а может быть, четыреста писателей. Они впервые были в Бухенвальде. А Бруно Апитц был узником Бухенвальда. Он написал роман — «Голый среди волков». Ему ничего не надо было сочинять. Он сам прятал мальчика от капо. Иссеченное морщинами, сухое лицо Бруно Апитца мало чем отличалось от бронзовых лиц узников на памятнике.

Мы ехали из Веймара. Вдоль всей дороги цвели яблони. Никогда еще я не видел эту страну такой нарядно-белой. Рядом со мной сидел американский писатель. Мы говорили с ним о книгах, которые нравились нам обоим. В автобусе были американские, английские и итальянские писатели. Они шутили и веселились, это были славные люди, и погода была отличная, и за окнами было красиво. У них было хорошее настроение потому, что они не представляли, что их ждет впереди. А я был в Бухенвальде пять лет назад. Когда по телевизору вечером показывают спортивные новости, какой-нибудь футбольный матч и я про результат уже слышал, его уже передали, то странно смотреть, как на трибунах кричат, комментатор нервничает, строит прогнозы, а ты сидишь как господь бог, которому все известно, и смотришь на эту людскую суету.

Приехали в Бухенвальд, выгрузились из автобуса, и я наблюдал, как постепенно, толчками менялись выражения лиц.

Как и пять лет назад, на пустом плацу лагеря было ветрено. Ходили экскурсанты, было много школьников. У печей, холодных печей, где лежала зола, я встретил писателя Иржи Гаека. Он с силой приглаживал свои короткие волосы, такая у него привычка.

— Я все думаю, — сказал он мне. — Сплю и думаю, бедная моя голова. — Он, морщась, следил за школьниками. — Скажи, нужно ли это показывать детям?

Откуда я знал. Может, нужно. А как иначе внушить им ужас, и отвращение, и ненависть?

— А может, такая доза слишком велика? — сказал Иржи.

К нам подошли югославы. Они все воевали партизанами, они пережили всякое, и сейчас они вели себя как солдаты, спокойно, запоминаяще оглядывая лагерь.

— Мы тоже могли попасть сюда, — сказал кто-то из них.

Так и я тоже мог попасть в Бухенвальд. Это никогда мне и в голову не приходило. Мне стало

жарко — вспомнился бой под Таниной горой, когда наскочил на немцев, и потом — как мы шли из окружения.

За эти годы ничего не выросло на плацу. Голый, пустынный — может, его специально сохраняли таким. Но в Освенциме тоже почти ничего не росло, и под Пулковом, где мы сидели в окопах, там до сих пор плохо росли кусты. Слишком много металла там было в земле. Накануне отъезда я ходил по тем местам со своим комбатом. Мы разыскивали старые, заросшие землянки. Я сказал, что еду в Германию. Комбат пожал плечами.

— Я бы не мог с ними... — сказал он. — Я все понимаю, но я не могу.

Вечером мы праздновали День Победы, то был совсем особенный праздник двадцатилетия победы, после 1945 года еще не было такого. На набережной молодежь качала ветеранов. Все были хмельные, а пьяных не было, солдаты надели ордена, и на солдата смотрели с восхищением, так же как двадцать лет назад. Я снова чувствовал себя победителем, а главное, я опять был солдатом. И я узнавал солдат среди этих постаревших мужчин в пиджаках и пальто. Именно солдат, мне не нужны были интенданты, и журналисты, и прочие вполне заслуженные деятели. Солдат можно было узнать по орденам Славы, по гвардейским значкам, иногда по ранениям и еще по тому солдатскому, что остается до конца дней. В первые годы после войны это было проще — мы донашивали фронтовые шинели, мы еще носили нашивки за ранения. Мы вспоминали, как год назад, девятого мая, мы сидели в ресторане и к нам подошел человек со стаканом вина.

— Солдаты? — спросил он. — Вы меня, конечно, извините, но такой день. Стал я сегодня надевать ордена, дочь говорит: папа, зачем ты это делаешь, это не модно, теперь не принято. И я снял. И вы тоже, я вижу, сидите без орденов. Не надели? А чего нам стыдиться? За кого мы стыдимся? Вы меня, конечно, извините, — он отошел, не чокнувшись.

А через год восьмого мая я поехал в магазин Военторга купить новые ленточки к своим орденам. На Невском стояла длинная очередь. Продвигалась она медленно. У прилавка мужчины писали на бумажках списки медалей и орденов. Перечни городов России и столиц Европы.

Через несколько дней я уезжал в Германию, и на душе у меня была путаница.

По каменным ступеням мы спускались с горы Бухенвальда на Аллею Наций. В каменных чашах горел огонь. Черный дым стлался над гранитными обелисками. Олесь Гончар и я несли венок. Делегации всех стран растянулись в длинную процессию. Каждая делегация возлагала венок к обелиску своей страны, в память соотечественников — жертв фашизма. Мы шли мимо камней с надписями — «Венгрия», «Голландия», «Польша», «Франция», «Чехословакия». Тут была почти вся Европа. Одна за другой из общей колонны отделялись делегации. Смоляное факельное пламя плескалось на холодном ветру. Горький копотный дым напоминал о печах Освенцима. Мы положили венок на каменную плиту. Я подумал о моем школьном друге — Вадиме. Он пропал без вести в первые месяцы войны. Я подумал о нем мельком, потому что я не люблю думать о нем как о мертвом. До сих пор Вадим не может стать мертвецом.

Мимо прошли австралийские писатели — они несли цветы. Они не знали, куда положить их. Австралия не имела на Аллее своего обелиска. Шли чехи, румыны, итальянцы, австрийцы, американцы, канадцы, японцы... Здесь были писатели многих стран, многие из них сидели в тюрьмах, книги их запрещали, сжигали, были писатели, знающие фашистов по фильмам, — о чем они думали, что вспоминали они в эти минуты?

Первая история про венки . Снаружи здание отеля не имело окон. Стены представляли сплошной орнамент, сквозное каменное кружево. Отель возвышался огромный и легкий. «Удачное сочетание современного стиля с национальными традициями» — так писали в путеводителе. Отель был одним из тех, которые изображают на буклетах, а на карте городских достопримечательностей помечают кружком с цифрой. Его называли «американский» отель. Нищих сюда не подпускали. Они кружили у нашего отеля. Я уже знал их в лицо. Кроме них у нашего подъезда постоянно вертелись менялы, сутенеры, липкие молодчики, которые предлагали опиум, мальчиков, адреса игорных домов.

У американского отеля было пусто. К длинному подъезду подкатывали длинные машины. Навстречу выходили швейцары. Их было всего два, не больше, они брали багаж и исчезали.

Здания без окон всегда таинственны. Кто знал, что через несколько часов нам придется побывать внутри. В случайности и была прелесть нашей здешней жизни. И в эту страну мы попали случайно. Судьба одарила нас приключением, чистым приключением — редчайшей вещью в наше время жестких программ и точных расписаний. Я впервые видел Восток. У меня не было никаких заданий, целей, и я не пытался ничего выбрать, ни во что не вмешивался, стараясь не помешать неожиданностям. С утра мы бродили по базарам. Мастера в крохотных ярко освещенных лавочках ткали шелка, чеканили серебряные блюда. На низких скамеечках сидели женщины, перед ними разворачивали рулоны огненных шелков, золотое шитье. Глаза женщин сверкали в прорезях чадры. Невеста протягивала руку с алыми ногтями. Продавец делал неуловимое движение, и тугой браслет плотно охватывал тонкое запястье. Дешевенький транзистор наигрывал хали-гали. Старинные медные кувшины дребезжали. По тротуарам ползали прокаженные. Дымились жаровни уличных кондитеров. У ограды дворца стояла кровать, на ней лежал больной старик, его осматривал знахарь, мы перешагивали через спящих, они лежали на тротуарах, целые семьи жили на улицах, с ребятишками, с кострами домашних очагов. По мостовой мчались длинные блестящие «мерседесы», они останавливались перед красным огнем светофора рядом с верблюдом, запряженным в телегу. Мы жевали бетель и сплевывали красную слюну. Дымя и брэнча, шли по рельсам дизельные трамваи. Город поражал запахами, яркостью, фантастическими сочетаниями.

Контрасты были слишком обнажены. Нищету не прятали, роскошь не маскировалась. Это был Восток, безнадежно для меня непонятный, иной мир. Недоступный моим социальным страстям и познаниям. Здесь действовала другая система измерения, я не знал ее и мог лишь наблюдать, без обобщений и выводов. Окружающее смотрелось как видовой фильм, отличный фильм, объемный, цветной фильм о загадочной стране.

Медленно двигаться сквозь этот плотный желтый зной, смотреть и записывать все, что попадалось на глаза. Больше я ничего не мог и не хотел. Тщательно и точно описывать краски, запахи, выражения лиц, собственные чувства, так, как это умел делать Бунин. Десятки страниц можно было заполнить описаниями базаров уличной толпы, нищих, мечетей с минаретами, оборудованными громкоговорителями. Писать про это было бы интересно и, наверное, читать тоже. Потому что интерес писателя всегда передается. Там были бы одни факты, и еще впечатления. Только материал, все остальное пусть домысливает читатель.

Под вечер к нам пришел мистер Д. Мы сидели у меня в номере, и болтали. Мистер Д. курил тонкую сигару. Гибкий стебель дыма тянулся к вентилятору. И сам мистер Д. был как этот стебель, с ловкостью фокусника он уклонялся от какой-либо, политики, экономики, статистики, истории. Стоило коснуться чего-либо серьезного — и он сворачивал на шутку, из всего нашего разговора нельзя было запомнить ни слова. Единственное, что я запомнил, это его улыбку. Улыбка мистера Д. не имела, никакого отношения к разговору, она занималась своим делом — она изображала радость по поводу нашего приезда, демонстрировала гостеприимство, устанавливала отношения коллег, особые отношения писательской братии — еретиков, скептиков, бунтовщиков, понимающих друг друга в любой стране.

Когда мы вышли на улицу, никто из нищих и этих липких молодчиков не подошел к нам; А между тем я бы не отличил мистера Д. от европейца. В темном дакроновом костюме, змейка-галстук, смуглый, с блестящими крылышками пробора он вполне походил на итальянца, грека, испанца. И тем не менее впервые мы свободно прошли к стоянке машин, и все наши знакомые старухи, калеки, слепая раскрашенная девица и шагу не сделали в нашу сторону. Непонятно, как удалось это мистеру Д., он не позволил себе ни одного предупредительного жеста, ни одного взгляда, он разговаривал с нами и улыбался.

Сперва мы поехали с ним в клуб, а оттуда — в «американский» отель. Внутри отеля было прохладно. Свежий кондиционированный воздух продувал все это огромное здание. Мы прошли в бар, заказали виски. Мы бросали в стаканы лед, подливали содовую, и мистер Д., улыбаясь, увлеченно говорил ни о чем. Он и сам ни о чем не спрашивал, ни разу он не спросил о нашей стране, о нас, — казалось, его ничто не интересует. Обольстительная улыбка его без устали порхала меж нами. Мне вдруг захотелось поймать ее, спрятать, чтобы увидеть его самого. Может, подействовало виски, но я плюнул на все правила этикета. «Нет вы мне ответьте», — резко сказал я. В конце концов, я должен был что-то узнать про эту страну. Или хотя бы про мистера Д. Какие-то его симпатии, антипатии, что-то подлинное, ну в чем-то, не знаю — дети, женщины, поэзия, американцы, пьянство, — все, что угодно, так чтобы вспыхнули его ласково-скользкие глаза, чтобы стукнуть по столу, разругаться или хлопнуть друг друга по рукам, обняться.

Казалось, я загнал его в угол, но в последнюю минуту он выскользнул. Он лениво играл со мной, оставляя все более любезные улыбки, не человек, а само олицетворение радушия и дружбы, которой не существовало. Всякий раз я словно проскакивал по касательной к миру его интересов. Чем дальше, тем сильнее я ощущал свою непричастность к происходящему. Как будто я и впрямь был всего лишь зрителем, и меня окружал стереоэкран, и мистер Д. двигался на экране, а я сидел в зале, а мог и не сидеть, неизвестно вообще, существовал я или же меня не было.

— Восток есть Восток, — со злостью сказал я.

Мистер Д. учтиво засмеялся.

— Вам надо поехать в Лахор, — сказал он. — Там вы увидите настоящий Восток.

И он стал расписывать Лахор, соблазняя нас примерно так же, как мы соблазняем наших иностранных гостей стариной Новгорода или красотами Ленинграда. Я сказал об этом, и тут вдруг мистер Д. спросил, не из Ленинграда ли я?

Впервые он задал мне вопрос.

— Я был там, — сказал он и перестал улыбаться. Без улыбки он выглядел усталым.

— Вам понра... — машинально начал я и запнулся. В последний момент я успел тормознуть. Меня остановило его лицо. Я не подозревал, что у него может быть такое лицо — хмурое, подсушенное лицо моторикши. «О, да, — ответил бы он, — мне понравился Ленинград», и я бы спросил его про Эрмитаж и про набережные, и он восторгался бы и хвалил, и потом предложил выпить за Ленинград и исчез бы за своей улыбкой.

Но я удержался. Мистер Д. ждал. Что-то подсказало мне не торопиться. Мы молча допили виски. Мистер Д. пригласил осмотреть отель.

В холле, у фонтана, прохлаждались жилистые англичанки. Было много разных кафе, ресторанчиков, играла музыка, бродили пьяные американцы. Мы поднялись в лифте, обитом тисненой красной кожей, на самый верх, в ресторан «Луна». Там горели ароматные свечи, посетители сидели на подушках, молоденькие официанты кланялись мистеру Д. Мы вышли

на балкон, в душную ночь. Внизу горел, переливался цветными огнями город. По-прежнему шел какой-то незначущий разговор, но мистер Д. стал рассеян, что-то беспокоило его. А я как ни в чем не бывало любовался ночной панорамой. Темнота скрыла лачуги, навесы базаров, крытые ржавой жестью уличные мастерские, нищету, лохмотья, грязь, груды отбросов, оставив лишь огни фонарей, свет окон, извивы реклам, подсветку дворцов, в этой лживой тьме все огни выглядели прекрасными; и, тусклое пламя уличных жаровен, и ночники бездомных поселенцев, и фары моторикш, и неоны казино. Этим городом можно было восхищаться только ночью, мистер Д. удачно выбрал момент.

Он ответил мне вежливо-безразличным смешком, я ни о чем не спрашивал, но он ждал, я ощутил напряжение вдруг возникшего поединка. Теперь я существовал для него. В чем тут дело, я еще не понимал. Темнота скрывала его лицо.

— Эти официанты, они студенты нашего университета. Прирабатывают, — сказал он.

— Да? — вежливо удивился я.

Мы помолчали.

— Ваш город для меня тоже загадка, — неожиданно сказал он. — Хотя я немало изъездил.

В Ленинграде на него наибольшее впечатление произвело Пискаревское кладбище, где лежат жертвы блокады. Сотни тысяч ленинградцев, погибших от голода и обстрелов, дневник школьницы, выставленный там, фотографии заснеженного города, девятьсот дней блокады, — как мог город перенести подобное, какие силы помогли ему выстоять? Разумеется, мистер Д. и до поездки читал и знал о героизме ленинградцев, но, когда он увидел своими глазами, он перестал понимать. Вернувшись домой, он ничего не сумел объяснить друзьям.

— У вас ведь не было религии, которая делала людей фанатиками? — спрашивал он. — Фанатики, они способны на любые страдания, мы на Востоке это хорошо знаем. Горожан не собирали на молитвы, не укрепляли их дух никакими религиозными обрядами. Как же они могли продержаться?

Ночь помогала ему, да и мне: если б он заметил мою усмешку, мы снова бы стали чужеземцами, живущими в разных, бесконечно далеких мирах. Да и вправе ли я был усмехаться? Сейчас меня занимало не столько его незнание, сколько то, что имелось, оказывается, в этой жизни событие, соединяющее нас. Наверное, было не только Пискаревское кладбище, но именно оно помогло нам.

— Сотни тысяч, ведь это целый народ, — сказал мистер Д. — Древние Афины имели население всего двести пятьдесят тысяч. Для меня ленинградцы — это государство, добровольно избравшее смерть.

— Почему? — сказал я. — Мы не были самоубийцами.

Я пробовал ему объяснить, как это было.

— Представляю себе, как вы должны ненавидеть немцев, — сказал он.

Мне хотелось ответить ему совершенно честно, и я понял, как это сложно.

«Нельзя отождествлять немцев с фашистами. Мы ненавидим фашизм. Народ не может быть плохим, немецкий народ дал миру...» — и далее в том же роде. Но тут же я раньше него задавал вопрос: «Но кто же, если не народ отвечает за фашизм?» И тогда начинался старый, безвыходный спор.

Ненавижу я до сих пор?

Не могу простить?

Не могу забыть?

«Простим, но не забудем» — так написано было на одном из французских памятников.

Я задумался и пропустил начало его рассказа. Мистер Д. рассказывал, как с какой-то делегацией он приехал на Пискаревское кладбище. Ему выпала честь возложить венок к подножию памятника. В группе были немцы, один из них обратился к мистеру Д. с просьбой дать им венок, они хотят возложить венок на этом кладбище.

— Не сразу я решился на это, — рассказывал мистер Д. — Но я подумал, что немцам это нужнее, чем нам. Я передал венок немцу. Вы знаете, там надо пройти всю главную аллею до памятника. Немец, очевидно, понимал, что это будет нелегкий путь. Мы шли мимо насыпей — могил. Мы смотрели на могилы и на него. Он сам подставил себя под наши мысли. Это был мужественный человек.

— Не знаю, — сказал я.

— Войдите в его положение, как еще он мог выразить свое отношение?

— Позвольте, я расскажу вам другую историю.

Вторая история. Услыхал я ее в Берлине, от моего друга Отто Г. Он тоже в составе какой-то немецкой делегации приехал в Ленинград, и они тоже посетили Пискаревское кладбище и взяли с собой цветы. Все происходило так же, с одной лишь разницей — Отто Г. не пошел на кладбище. Он остался у входа ждать своих спутников. А между тем он имел, наверное, большее право, чем все остальные, идти по этому кладбищу и возложить цветы у памятника. Он старый коммунист, в годы фашизма сидел в концлагере, он один из тельмановской гвардии. Почему он не пошел? Не мог, сказал он мне. Не мог, хотя, казалось бы, лично его совесть была чиста. Он не мог — вы это понимаете?

— Да, — подумав, сказал мистер Д. — Может, следует предпочесть вашего немца.

Я смотрел на ночной город и ничего не видел.

— Черт возьми, мы все испортили, — довольно грубо сказал я, но мистер Д. не обиделся.

Не было смысла дальше стоять здесь. Мы спустились в бар и еще выпили. Кажется, мистер Д. больше не улыбался, но теперь это меня не занимало. Меня вообще больше ничего не занимало ни в этом отеле, ни в этом городе. Я отказался поехать в Лахор. Войдя к себе в номер, я включил вентилятор и включил эркондишен. Постель была влажной. Я лежал и думал о том, что вряд ли мне когда-либо еще выпадет случай увидеть Лахор, его сказочные мавзолеи, караван-сарай, пагоды, дворец Великого Могола, через некоторое время я, наверное, пожалею и не смогу объяснить, почему я отказался туда поехать.

И мистер Д. тоже больше не настаивал, не уговаривал. Когда мы прощались, он вдруг похлопал меня по плечу, я похлопал его, это была хорошая минута, одна из тех минут, когда люди становятся близкими.

...
И третья . Утром девятого мая я поехал на Пискаревское кладбище. Мне хотелось побродить там в одиночестве. Никак я не ожидал, что там окажется столько народу. Непрерывно подъезжали переполненные автобусы; такси, инвалидные коляски. Огромное поле было полно людей. Происходило какое-то стихийное, никем не организованное шествие. Собственно, и шествия-то не было. Присмотревшись, я заметил, что люди шли к памятнику, шли, поглядывая на низкие широкие могильные насыпи, еще не обсохшие от растаявшего снега, доходили до памятника, возвращались и уезжали. Каждый был сам по себе, и не было никакого ритуала, ни березок, какие завивают на троицу, ни кутьи, и цветов еще в городе не было, редко у кого в руках были сниклые букетики подснежников. Дул холодный ветер, и многие торопились, нельзя понять, что заставило их добираться сюда со всех концов города. Инвалиды, пожилые люди, старушки, но много и молодежи. Некоторые клали на пожухлую старую траву могил конфеты. Почему конфеты — может, потому, что не было цветов?

Я почувствовал, что мне тоже хочется как-то выразить свои чувства погибшим. Может быть, в этом было что-то языческое — не знаю. Я пошарил в карманах, ничего у меня не оказалось, кроме пачки сигарет, я положил ее на дерновый откос, у каменной плиты «1942». Сигареты «Кронштадтские», неважные сигареты, но я вспомнил, что мы курили тогда, зимой сорок второго.

И эта карамель... если б они могли иметь эту карамель... Меня окликнули. Я с трудом узнал Максимова. Мы служили с ним несколько месяцев в одной дивизии. Он шел вместе с десной, она держала срезанную герань. Мы свернули в сторону, к одной из крайних насыпей. Они положили цветок, и мы постояли все трое. Максимов сказал, что в блокаду у них умерла девочка, единственный их ребенок, жена повезла ее на санках хоронить и не довезла, свалилась. Жену подобрали, отправили в стационар, а где похоронили девочку, они не знают, может на Пискаревском. С тех пор они приходят сюда, они выбрали себе эту насыпь.

Спустя несколько месяцев в Доме дружбы был какой-то вечер встречи с зарубежными гостями. В фойе я увидел Максимова. Он беседовал с немцами; когда я подошел, он обрадовался, познакомил меня с ними — однополчанин — и подмигнул им добродушно, без всякого подвоха; он угощал их сигаретами, рассказывал про свой цех, он работал на «Скороходе», немцы показывали свои ботинки, а он свои, все смеялись. Максимов громче всех. Потом пошли в зал слушать концерт.

— Интересно, что делает с нами время, — сказал я, — глупее оно нас делает или мудрее... или всего-навсего делает другими?

— Послушай, — сказал мне Максимов. — А чем они виноваты? Что ж нам, опять душить друг друга? — Он вытянул свои огромные руки, и я вспомнил, как он тащил застрявшую в грязи пушку.

В маленьком садовом домике Гете у конторки стояла специальная подставка, обитая белой кожей, нечто вроде седла. Гете писал стоя — очевидно, он уставал подолгу стоять и сделал себе это сооружение, он закидывал на него ногу и так, полусидя-полустоя, продолжал работать.

— Попробуйте, — предложил мне директор музея.

Я попробовал, получилось удобно. И конторка была мне по росту. Можно было начать писать. Например, «Фауста».

Вы снова здесь, изменчивые тени,
Меня тревожившие с давних пор.
Найдется ль наконец вам воплощенье...

И дальше, удивительные и странные строки:

Я слезы лью, и тает лед во мне,
Насущное отходит вдаль, а давность,
Приблизившись, приобретает явность.

Какое мне дело, что «Фауст» уже написан. Я бы начал его снова, теми же словами, просто переписывал бы, и мне казалось бы, что я тоже причастен к сочинению, это я сочинил, не полностью я, но я тоже, это про меня, про мою давность, которая ожила, зашевелилась, тревожа меня.

За окном блестел зеленый сад. Тепло исходило от солнечного навощенного паркета.

Старые доски купальни

Человек, которого я искал, бомбил Ленинград. Рассказывали, что он командовал авиаполком или авиадивизией. Почему-то мне казалось, этого достаточно, чтобы я узнал его сам, прежде чем нас познакомят. Встречу на улице и узнаю. Определю. Городишко-то был крохотный, игрушечный, вырванный из старых немецких сказок, из рекламных проспектов, за два часа его можно было обойти от окраинной кузницы до туристского пансионата. В таком городке трудно было не встретиться. К полудню многие прохожие уже приметались. Я мысленно проверял каждого встречного. Должна была остаться выправка кадрового военного, следы былой власти, положения, конечно, виноватость, раскаяние или затаенность. Какая-то печать «бывшего». Правда, я знал только наших бывших. Я привык узнавать их среди стариков, что заполняли скамеечки Михайловского сада. Старики сидели компаниями, листали газеты, играли в шашки, некоторые дремали на солнышке. Старики были разные, ухоженные и одинокие, крепкие и больные. Следы перенесенных инфарктов сквозили в их замедленных движениях. Инсультные руки с глянцевиной кожей сведенных пальцев, багровые лица, вздутые вены, — в старости люди становятся куда более разными. Они как проявленные, закрепленные, высушенные снимки, где уже ничего нельзя подретушировать. Былые заслуги, стройки, обиды, увлечения, война, привычка стоять у станка или сидеть за столом — все было видно. Их биографии проступали неудержимо, как вечерние краски заката. Особенно меня занимали бывшие — бывшие шефы, зубры, эти брыластые львы, которых когда-то шепотком Звали «наш», «сам», «хозяин». Что-то в них всегда оставалось — важность, осторожность, задерганность бессонных ночей, непроницаемость, покровительственная грубоватость. Они умели значительно молчать. Морщины их привычно складывались в жесткую недоверчивость. Другие же сделались говорливы, беспечны, лица их разгладились в

неожиданной приветливости.

...Кузнец подковывал тяжелого немецкого першерона. Лошадь понятливо косилась на своего возчика, который сидел на скамеечке, попыхивая короткой трубкой. Мальчик вышел из булочной с корзинкой, полной рогаликов, и зачарованно остановился перед наковальней. От рогаликов курился ароматный пар. Лошадь деликатно повела ноздрями. Кузнец что-то сказал, и мальчик и возчик засмеялись. Это была милая сценка, умилительная, и добрая, и приятно старинная, и было нехорошо с моей стороны, когда я вдруг подумал — а чем занимались этот кузнец и этот возчик во время войны? Я ничего не мог поделаться с собой — всякий раз, встречаясь с немцем старшего возраста, я мысленно спрашивал: а что он делал тогда, в те годы?

Кем он был тогда, этот лейтенантский возчик, которому сейчас за пятьдесят? И этот хромоу кузнец? Кто подстрелил ему ногу? И чей сын этот мальчик?

Яд этих вопросов отравлял меня. Какое мне дело до биографии отца этого мальчика. При чем тут мальчик. Он сам по себе. Мало ли что делал мой прадед. Понятия не имею, кем был мой прадед — может, бандит, палач. Где кончается прошлое — вчера? отец? дед?

После того митинга в Бухенвальде мы гуляли с Вернером фон Т. по Веймару. Вернер приехал из Западной Германии. Он читал нам свои стихи. Он скорее походил на боксера, чем на поэта, но стихи были интересные, веселые, он вскрикивал, присвистывал по-птичьи, круглая курносая физиономия его покраснелась. Ни с того ни с сего я вдруг спросил, кто был его отец. Еще не утихший смех плескался в глазах Вернера, когда он отчетливо перечислял — нацист, лейтенант ваффен-СС, погиб под Сталинградом.

Симпатичность его сразу исчезла, то есть для меня она исчезла, я увидел его арийскую белокурость, крепкий подбородок и этот неуместный смешок. Он почувствовал, как во мне все оцетинилось. Пересилив себя, я сказал, снимая возникшую неловкость, что, конечно, сын не отвечает за отца. Известная формула, которую мы когда-то учили, но не применяли.

Он медленно повел головой.

— Нет, отвечает.

Он рассказал мне про группу «Искупление». Дети бывших нацистов, эсэсовцев создали в Западном Берлине такую группу, члены ее уезжали в Норвегию, Югославию, в страны, разрушенные, разоренные фашистами, и бесплатно год-полтора работали на стройках. Их было всего несколько сот — юношей и девушек, но они были, и они-то считали себя настоящими детьми.

Я заставил себя подумать о том, что фашизм и немцы — вещи разные. Фашизм нельзя считать чисто немецким явлением. Фашизм — явление не национальное, а социальное. Мысль давно известная, об этом писали у нас еще во время войны, но понадобились годы, чтобы я сам подумал об этом, и затем годы, наверное, еще нужны, чтобы она стала моим убеждением.

Есть люди, для которых она вовсе не так уж очевидна. Люди и местности. Мне вспоминались всякие местечки в Польше и в Чехословакии и город моего детства Старая Русса. Такой же старинный, маленький городок, с такими же тихими улочками, прохожими, знающими друг друга. С той лишь разницей, что почти ничего не осталось в нем от довоенного города. Все было сожжено и разрушено, кажется, лишь четыре дома уцелело. Я приехал туда через двадцать лет после войны, мы ходили со старым моим знакомцем — учителем истории, и он показывал мне то, чего уже не было. Место, где стоял гостиный двор, пропахший сырмятной кожей, рыбой, мелкими яблоками «чулановкой». Порубленный немцами курортный парк, разрушенные церкви. Из моего детства сохранилась лишь купальня на соленом озере.

Темно-зеленая вода и скрипучие старые доски. Вновь отстроенный город казался чужим. Мы шли по улице Володарского, учитель рассказывал, как здесь вдоль улицы немцы повесили семьдесят человек.

— А ты защищаешь немцев, — сказал он. — Нигде фашизм не принимал такие чудовищные формы, как в Германии. Думаешь, это случайно? Вспомни прусскую военщину восемнадцатого века.

Я не мог вспомнить прусскую военщину XVIII века, и тогда он мне цитировал кого-то: «Отсутствие нравственных идеалов делает их готовыми орудиями для исполнения любых приказаний. Они никогда не размышляют, насколько справедливы эти приказания». Так писали о пруссаках в 1756 году.

— Откуда ты все это поднабрал? — спрашивал я.

— Из немецких книг. Это же писали сами немцы про свою немецкую реакцию.

— Подожди, при чем здесь немецкий характер и немецкий народ. Если писать историю нашей, русской реакции, тоже можно подобрать будь здоров.

— Ничего подобного, поверь, что нигде, например, не было такого произвола и невежества цензуры, как в Германии. Я специально занимался...

Мы вошли в щербатый, разоренный курортный парк. Сохранился большой фонтан. Он шумел под стеклянным колпаком. Стояли незнакомые светлые корпуса санатория. По аллеям гуляли больные, на головах у них были сложенные из газет шапочки. Плеск воды покрывал голоса, пахло железом, солью, сероводородом, поначалу неприятно, а потом что-то очнулось во мне, и по этому запаху, как по следу, я стал искать свое детство.

— Подожди, — сказал я учителю, — не показывай мне дороги, я сам найду.

— Хорошо... Так вот, еще в начале девятнадцатого века прусская цензура, представляешь, превратила Моора в шиллеровских «Разбойниках» в дядю...

Я знал, что надо миновать площадку и музыкальную раковину, где раньше играл духовой оркестр и на скамьях сидели горожане. В бостоновых костюмах с широкими галстуками и значками Осоавиахима и МОПРа. Еще были значки ОДН — общества «Долой неграмотность», ОДР — общества «Друг радио» и старомодные значки — смычки города с деревней.

Ни раковины, ни оркестра, ни площадки — ничего не осталось. Пересохлые колеи ободранной земли цеплялись за ноги. Я свернул направо, где-то там должны были быть купальни на тех зеленых озерах.

— ...Если в романе цензор встречал выражение: «У нее была белая пышная грудь», то он заменял: «Спереди она была хорошо сложена». Представляешь? Были запрещены сочинения лучших историков Европы — Тьера, Макиавелли, Гиббона. Даже у латинских и греческих классиков вычеркивали все, где упоминалась республика...

Путаясь, но самую малость, я нашел купальни. Направо — женская, налево — мужская, так и осталось. Я сразу узнал огороженный квадрат купальни, с трех сторон навесы, а с четвертой надводный забор, выходящий в озеро. На солнечной стороне мы разделись и сели на пружинистые теплые доски настила, спустив ноги в воду. Пятки мои ощущали скользкую

мохнатость свай, крепкая соленость воды впивалась в кожу. Прошлое просыпалось толчками. Я узнал эти доски. И дранку навеса — тот же памятный с детства особый темно-серый блеск, какой бывает у старого серебра. Где-то тут мы взбирались на узенькую крышу навеса, пробегали и с ходу ныряли в соседнюю женскую купальню под вскрики девчонок. Под водой выплывали в озеро...

— ...Немецкий народ был разделен на шпионов и обвиняемых. То же происходило у них и в литературе. Положение в литературе, оно весьма показательно. Вся литература разделялась на надзирателей и надзираемых. Сыщики, доносчики. Сикофанты. Честный журналист, писатель нигде не мог выступить против сикофантов. Даже защититься от их клеветы не мог...

Я закрыл глаза, и мне вспомнилось, как отец учил меня плавать в этой купальне. Как мы сидели с ним здесь последний раз, когда мне было уже семнадцать лет. Белое сухонькое тело отца, коричневая, загорелая шея, до кистей коричневые руки, точно в перчатках. При его лесничьей работе курортная эта купальня была для него роскошью, да и Старая Русса после лесных барачков, смолокурен, делянок с бело-желтыми штабелями баланса, какого-то пропса, лесосплавных барж с плотами, гонками, — этот город был для него праздником, и он нахваливал мне эту купальню, плотную зеленую воду, на которой можно было лежать, красоту и знаменитость здешних мест. Я слушал его вполуха, так же как сейчас учителя. Мне было скучно — чего тут хорошего? Восторги отца казались мне наивными.

И вот сейчас отца моего давно уже нет в живых, а я сижу здесь и так же щурюсь на этот хвойный блеск воды, теперь уже зная цену неторопливости и этих пристальных минут. Мне показалось, что отец чувствовал или знал, что когда-нибудь это случится со мной, я приеду сюда. Как будто он забросил то наше прощальное купание в мое будущее и теперь я нашел... Кто знает, может, и он думал тогда о своем отце, о том, как он не понимал его, о своей жестокой отчужденности. Мне представилась цепь, уходящая в прошлое и в будущее, дети, которые возвращаются к отцам слишком поздно, так происходит всегда, и бесполезно предупреждать детей, и торопить их, и требовать, я тоже был в этой цепи и сыном, и отцом, и прадедом, может, и меня коснется это позднее постижение моего правнука, так же как и я сейчас коснулся своего деда, которого я никогда не видал.

— ...А реакция подкупала, развращала, кастрировала лучшие таланты Германии. И они, представляешь, чтобы не оставаться узниками, становились тюремщиками, побрякивали своими ключами. Кого объявляли лучшими патриотами — тех, кто заботился лишь о себе, о своей семье, тех, кто переставал быть гражданином...

Я подумал о Вернере фон Т. и его отце, о нарушенной связи поколений. И еще полнее ощутил счастье этих минут. Пусть поздно, но близость своего отца... Мое понимание его. Что-то сокровенное передавалось, доходило ко мне от этих теплых старых досок... Мне стало жаль Вернера. Дело, за которое погиб его отец, оказалось позорным, преступным, нить была порвана, позади у Вернера была пустота. Он не был звеном, он был обрывок.

— ...Нигде «благонамеренные» не были в таком почете, как в Германии...

— Подожди, но было и другое, — сказал я. — Была революция, Либкнехт, Тельман, юнгштурм, рот-фронт, немецкая компартия. Разве мы не гордились немецкими коммунистами? Мы пели песни Эйслера, ты помнишь Эрнста Буша? Всегда оставалась Германия Томаса Манна и Брехта, и сегодня...

— Ну да, конечно, две Германии, так удобно и просто. А вот не получается, — он постучал себя по заросшей седым волосом груди. — Внутри у меня никак не разделить. Логически — пожалуйста, я себе доказывал: фашисты виноваты, немцы ни при чем. Поскольку фашизм уничтожен, то все претензии списаны. Ан нет, что-то такое осталось. Я по своей учительской

привычке и так, и этак выяснял — что именно. Почему осталось. Думаю, ведь не зря осталось. По-твоему, полезно полное отпущение грехов? Должны немцы чувствовать себя виноватыми? Да, да, народ. Некоторые ведь как считают — народ ни в чем не может быть виноват, народ, мол, всегда прав. Извините. Виноваты, перед другими народами виноваты. И пусть отвечают. Чтобы впредь не допускали. Другие народы должны тоже знать — есть ответственность. Существует. Вот именно ответственность каждого народа перед всеми остальными народами...

Но тут мне пришли на ум мои разговоры с молодыми немцами о том, до каких пор нужно напоминать о фашизме, сколько можно виноватить, от постоянных попреков появляется чувство неполноценности, оно мешает душевному оздоровлению народа, я вспомнил их споры и рассуждения о гарантиях и опасностях.

— Ага, им не нравится, — обрадовался учитель. — Страдают — и очень прекрасно. Странение — исцеляющее чувство. Да, да, через страдание к добру... — Он вдруг удивленно замолчал, хлопнул себя по голому колену. — Надо же, Федор Михайлович Достоевский это же самое писал, и где, здесь же, в Руссе, может, вот здесь, в купальне, сидел и про это думал...

Меня заразило его удивление. Прошло почти сто лет. То же солнце, такие же поросшие зеленью ступеньки под той же водой, и опять те же мысли и чувства способны мучать людей. И как сто лет назад, мы спорим о том же... Прекрасно, что дух человеческий не привязан ко времени, он сильнее времени, он больше, чем время, земля вращается, а мы можем обгонять ее и возвращаться назад. Неважно, что время движется только в одну сторону и нет обратного пути от смерти к рождению.

...А Лойтенберг стоял чистенький, целехонький, в красных колпаках черепичных крыш, аккуратный старичок со всеми своими ратушами, кирками, фонтанчиками, особнячками... Учитель имел право на злость, но имел ли он право на несправедливость?

Шестая по счету пивная, куда я зашел, помещалась под ратушей. Благодушный пивной хмель укачивал меня. Шестой стакан пива появился передо мной, на этот раз пиво было черное. В каждой пивной было свое фирменное пиво, свои завсегдатаи, у них были свои столики, вновь входящий стучал по столу в знак общего приветствия, хозяин приносил ему, не спрашивая, стакан его пива — подогретого, холодного, пива с водкой, пива с вином.

Я сел у окна, чтобы видеть площадь. Играла старенькая радиола. На стенах висели потемнелые гравюры и выведенные готическим шрифтом изречения местных трактирщиков.

Землю нашу украшают женщины и вино.

Мужчины знают это давно.

Поэтому они не хотят умирать,

Чтобы радости эти не покидать.

— Вы ждете кого-то? — любезно спросил кельнер. — Автобус из Зальфельда придет через полчаса.

Голова его была протерта до лысины, когда-то прямоугольные плечи обвисли. Линялые глаза смотрели на меня, словно узнавая. А почему бы нет. Может, он был среди тех, пленных, что прокладывали в Ленинграде кабели. Почти год после войны я работал с ними. А может, на

фронте, под Кенигсбергом. Или в госпитале. Может, он приезжал в Ленинград после войны. Может, в Прибалтике, когда мы окружили егерский батальон. В Берлине в пятьдесят шестом году... Поразительно, сколько у нас оказалось возможностей встретиться. Неизвестные нам нити связывали наши судьбы. Мир был перемешан, взболтан. Все мы уже когда-то встречались. Чьи глаза смотрели на меня из подвала, когда танки, грохоча, ползли по затихшим немецким городкам, а мы стояли в открытых люках?..

Однорукий толстяк за соседним столиком приветливо подмигнул мне.

Не торопись, когда пьешь, —

Это тебе не игра.

Кто пьет обдуманно.

Тот выпьет много.

Мудрость веселых трактирщиков. Дубовые бочки с медными кранами. Поля с косыми шестами, обвитыми хмелем... Взболтать перед употреблением. Взболтали. А дальше?

— Здравствуйте! — по-русски уверенно.

Он застиг меня врасплох. Я поднялся, крепко держась за спинку стула. Пивная пошла в пике, воздух стал плотным. Не стоило спрашивать, как он нашел меня, и он ведь не стал бы спрашивать, если б я увидел его первый.

— Садитесь.

Ему было за пятьдесят, но он сохранил спортивную форму, без лишнего жира, крепкий, приземистый, способный вполне постоять за себя. Я ощутил тяжесть своих кулаков и тяжесть окружающих вещей — вес железного стула, пластмассовую пустоту столешницы, твердость его большой челюсти.

Он предпочитал говорить сам, не ожидая расспросов. Во-первых, он не был нацистом. Он был солдат, профессиональный солдат. Кончив академию Генерального штаба, он начал летчиком. Первая его война была над Францией, затем Норвегия, затем небо России. А во-вторых, он любил, да, любил свою профессию летчика.

(Ах, ты любил, сука, — я ударил его в челюсть, прямой справа по всем правилам бокса, так что он полетел на мокрый кафель. Занес стул над головой. А ну давайте, подходите вы все...)

— Пожалуйста, еще пару пива, — сказал я.

— Вы курите? Прошу...

Он щелкнул зажигалкой. У него было хорошо управляемое лицо, привычное к тому, что за ним наблюдают, оценивают каждое движение.

В Прибалтике его впервые подбили. Он сумел кое-как посадить свою тяжелую машину. Они сняли пулемет и стали пробираться к своим. Приключения его напоминали наши военные очерки про отважных пилотов, подбитых за линией фронта. Как он вел свой экипаж через ночные леса, как отсиживались днем в придорожных кустах... Захваченная автомашина, на

ней лихой проскок по шоссе: До чего же это было знакомо. Ведь и у меня были две недели в болотных лесах, когда мы выбирались к своим, и даже захваченная автомашина с мешками сахара. Мы ели сахар и чернику, мы перебежали в сумерках шоссе...

События располагались с мнимой симметричностью. Ось симметрии проткнула годы и легла между Нами через этот столик, мы сидели друг против друга с одинаковыми стаканами черного пива.

В сентябре мы оставили Пушкин, в сентябре Макса Л. отправили из Прибалтики под Ленинград. Он отличился при бомбежке Таллина и Балтийского флота и получил эскадрилью. Его эскадрилья почти ежедневно бомбила Ленинград, бомбила заводы, батареи, порт, мосты. Когда началась блокада, он бомбил водопроводную станцию. Он рассказывал о порядке полетов, о нахождении цели, системе связи.

— Зенитная оборона у вас была слабая.

Как легко он укладывался в портрет, заготовленный мною. А может, наоборот — портрет мой сейчас подгонялся под него? Особенно профиль. Меньше всего изменяется профиль. Его профиль сохранял четкость прямых линий, можно было представить, как это эффектно выглядело в военном мундире четверть века назад, когда блестели кресты, ордена, нашивки молодого, преуспевающего, такого удачливого аса.

(Я вынул пистолет, — все же ты попался, стервятник. Пристрелю я тебя без всякого суда, с наслаждением, во имя всех моих погибших ребят.)

— Мне кажется, что наши зенитчики не виноваты, — сказал я. — Они не могли организовать оборону на подходах, фронт был слишком близко к городу.

— Если б вы имели локаторы, можно было подымать истребители заранее.

Было что-то странное в нашем спокойствии, как будто шел разбор учения. Пистолет... да, когда-то я бы не торопясь навел пистолет. Я отчетливо помнил свою фронтную мечту...

На Ленинградском фронте Макс Л. стал командиром полка, летом сорок второго его перебросили на Курское направление, и вскоре он получил дивизию. По-видимому, он действительно был боевым командиром, он добился разрешения лично участвовать в боевых вылетах. Фактически всю войну он провел в воздухе, вплоть до того дня, когда самолет его взорвался. Причина взрыва была непонятна, зенитки не стреляли, взрыв раздался неожиданно, беспричинно, машина стала разваливаться. Ему удалось выпрыгнуть, он спустился на парашюте и попал в плен.

Рассказ его, отработанный почти до обыденности, был тем не менее лишен малейших оправданий. За столько лет Макс Л. мог бы создать систему самозащиты, найти какие-то смягчения. Но он не оправдывал себя. И не было в нем бравады. И не было осуждения. Да, существовал Макс Л., летчик, командир, имеющий столько-то боевых вылетов, активный участник бомбежек и разрушений Ленинграда, и был другой Макс Л., который, не отрекаясь от себя, работал сейчас в ГДР и тоже активно и добросовестно делал свое дело.

Какие отношения имелись между этими двумя людьми — он не рассказывал. Он добровольно выбрал из двух Германий — демократическую, сам по себе этот выбор означал отказ от прошлого. Но что значит отказ — забвение? пересмотр? Можно ли забыть свое прошлое, когда оно составляет большую часть жизни? С чем же он остался? Да и как можно отказаться от своего прошлого, как это происходит — запереть его, никогда самому не возвращаться к нему, отнести его к кому-то другому? И что взамен? Значит, то был не я, то был другой. Но «я», оно же складывается из памяти. Индивидуальность — это память. Как же ладить с тем, бывшим Максом Л.?

Но ведь и со мной творилось сейчас нечто подобное. Оказывается, давно уже я слушал Макса Л., спокойно прихлебывая пиво, улыбался, вспоминая, как мы стреляли бронебойными в их самолеты. Он пролетал над нашими окопами, и мы с Сеней стреляли по всем правилам с упреждениями и поправками, мечтая попасть в какое-то незащищенное местечко, чтобы был черный дым, кувыркание, взрыв... Сейчас мы посмеивались вместе с Максом Л. над такой вероятностью, ничтожной и несбыточной, как чудо...

Никакой ненависти я не чувствовал к этому человеку. Куда же она девалась — выношенная, вмерзлая навечно? Проклятия, которые мы слали вслед его самолетам. Где-то там в городе были сирены, мы их не слышали, к нам доходили лишь звуки разрывов, мерзлая земля слабо вздрагивала в наших окопах.

Почему я так благодушно спокоен? Ну как я мог так измениться, ведь и сейчас разумом я отчетливо представлял распластанный, под крылом самолета Макса Л., мой город, занесенные снегом кварталы, расчетливое кружение его над целью.

К тому времени немцы оставили попытки взять город штурмом, решено было выморить его голодом, затем разрушить, перемолоть в щебенку, превратить в пустырь, заваленный кирпичом, камнем. Развалины набережных, искореженные узоры решеток, обломки кариатид, руины мостов. Пустые острова, которым предписано снова зарости лесом. «По низким, топким берегам чернеют избы здесь и там...» Не позволено никаких изб, лишь топкие, низкие берега. А мы? А нам запланировано умереть с голода. Судьба наша была решена в ставке фюрера, штабные офицеры подсчитали сроки, составили графики, выделили необходимое количество бомб, взрывчатки, горючего, орденов.

Под утро я пришел к Феде Сазонову в боевое охранение. Рассветало, мы выползли с ним по снежному ходу поближе к немцам. На нас были белые халаты, белые каски, единственная наша снайперская винтовка тоже была выкрашена белым. Мы были как гипсовые статуи в парках. Через час я увидел в оптику, как вышел из блиндажа немец, потянулся, в руках у него блеснул термос. Я хотел передвинуть винтовку Сазонову, он прошипел — стреляй сам. Я навел перекрестие на термос, нажал крючок. И тотчас там раздался крик, немец завертелся...

Хрипела старенькая радиола. Эрнст Буш пел песни Ганса Эйслера. На площади школьники выпрыгивали из автобуса. В руках у них сверкали длинные цветные открытки с видами Зальфельдских пещер, и лица их еще пылали отсветами подземных сталактитовых замков.

Я сбился, потерял ход своих мыслей. Я заблудился среди воспоминаний. Зачем мне понадобился тот немец с термосом... И вообще... Я смотрел на Макса Л. и не мог понять, для чего я так долго, упорно разыскивал его. История моих поисков сама по себе увлекала, как детектив. Отличный жанр — читаешь, и нельзя оторваться до самого конца. Главное было найти. Больше всего мы ненавидели летчиков, бомбивших город. Мне казалось, что если я его найду... А между прочим, нашел-то меня он. Я ему тоже зачем-то был нужен. Как в большинстве детективов, конец разочаровывал. Мы сидели почти скучая, занятые каждый собой, я выжимал из себя вопросы — а потом, а дальше? А дальше в лагере он вскоре вступил в Союз свободной Германии, многие немецкие офицеры и генералы осуждали его — еще бы, потомственный военный, внук знаменитого немецкого генерала, он в какой-то мере символизировал кастовое офицерство. Вернувшись в Берлин, он долго разыскивал свою семью, жену, детей, они скитались на западе по разрушенной Германии...

Во мне не было злорадства, наоборот, я заметил, что я сочувствую злоключениям его семьи, я понимаю их, потому что сам пережил похожее после войны. Но ведь сравнивать было кощунством, им-то всем так и надо было, они-то заслужили, и не того еще заслужили, и, зная это, я все же жалел и сочувствовал. И тут же поражался своему превращению.

— А совсем недавно прочел я воспоминания одного из ваших партизан. — Макс Л. предвкушающе улыбнулся. — Они действовали как раз на Курском направлении, они подкладывали мины на аэродромах. Оказывается, они и в мой самолет запрятали мину с часовым механизмом, — он беззлобно, даже как-то торжествующе рассмеялся. — Выяснилось!

И я тоже засмеялся, радуясь за наших партизан. Мы смеялись с ним одинаково, с чем-то сходными чувствами. Я имел право так смеяться, но он-то...

— Знаете что, — он помолчал, — я собираюсь, то есть я хотел бы, — он опять помолчал, — приехать в Ленинград.

Мне бы возмутиться, вскочить — да как вы смеете, да как у вас совести хватает, будь вы просто рядовой солдат, но вы же командовали, приказывали, других заставляли. Вы что ж полагаете — мы совсем беспамятные? Наглость-то какова, в Ленинград...

Вместо этого я ободряюще подхватил:

— А что, правильно, приезжайте, — и готов был доказывать, что ему необходимо приехать, и убеждать его, наперекор себе и совершенно искренне именно потому что наперекор.

Он все еще сомневался.

— Я хотел не один... Я думал сына взять. Младшего. — Подавленная тревога была в его голосе.

— Обязательно берите.

Ось симметрии хрустнула и надломилась: я поменял нас местами. Если б они победили, смогли бы мы сидеть так и стал бы он меня приглашать в Берлин? Нет, ничего не получилось. Я не стал бы ему рассказывать о себе, ни я и никто из моих ребят, даже если б мы остались в живых.

Поздно вечером по витой песчаной дороге я поднимался к замку. Пивной дух кружил над моей головой, вовлекая в свое вращение, но я не поддавался. Огни замка подмигивали сверху, мешаясь среди созвездий. Князья, герцоги, оруженосцы обгоняли меня, но я не обижался, я знал их феодальную ограниченность, и вся их историческая обреченность была мне досконально известна. Государства и цивилизация сменялись по причинам, установленным в школьных учебниках, а вот мое личное прошлое не поддавалось никаким законам. Ни черта я не мог разобраться в нем. Все некогда, все откладываешь на потом, на когда-нибудь, хотя потом ты уже не тот, пройдет еще несколько лет, и этот вечер, пивная под ратушей, встреча с Максом Л. и мой разговор, мое поведение станет еще необъяснимей. Если бы выйти из времени. Выйти и постоять в сторонке.

Так я и сделал.

Оказалось проще простого. На замшелом камне сидел Фауст в черной судейской мантии, и Вагнер в роговых очках, доцент Вагнер, радушный, милейший господин, готовый помочь мне, тем более что все так просто и легко выяснить.

— Зачем я его приглашал? — спросил я. — Что мне нужно? Простить его? А может, я хочу его возненавидеть.

— За что?

— Нет, ты скажи, имею я право ненавидеть его?

— Как человека, как личность — пожалуйста.

— Но почему ему не стыдно?

— Тебе нужно, чтобы он стал другим? Или тебе нужно, чтобы он все время каялся, страдал?

Вагнер растолковал мне:

— Чувство постоянной виноватости порождает, в свою очередь, неполноценность, а, как известно, неполноценность народа и есть то, на чем настаивал фашизм, объявляя некоторые народы неполноценными. Таким образом, твой друг учитель невольно, я бы сказал неосознанно, играет на руку...

— погоди, я не о том, я хочу о себе, я себя хочу понять, — сказал я. — Мне надо найти самого себя, я желаю знать, где я, а где время. Где и когда я заблуждался, что было истиной. Что было правильным в прошлом, а что нет.

— Мой друг, — сказал Фауст, — прошедшее постичь не так легко.

Его и смысл, и дух настолько не забыты —

Как в книге за семью печатями сокрыты.

То, что для нас на беглый взгляд

Дух времени — увы! — не что иное,

Как отражение века временное

В лице писателя: его лишь дух и склад...

— Это для меня слишком сложно, — сказал я, — выходит, я толком не могу узнать свое время.

— Все можно узнать, — сказал Вагнер. — Иначе бы я не мог получить свое ученое звание.

— погоди, — сказал я. — Ты придерживайся текста.

— Хорошо, — Вагнер откинул руку.

А мир? А дух людей, их сердце?

Без сомнения. Всяк хочет что-нибудь узнать на этот счет.

Фауст кивнул и сказал:

Да, но что значит знать?

Вот в чем все затруднение!

Кто верным именем младенца наречет?..

Я ошеломленно повторил его последнюю фразу. Действительно, назовут ее Мотя, а она никакая не Мотя, она Надежда.

— Позвольте, — сказал я, с трудом собирая мысли, — пусть я не знаю истину, но что я могу, так это не скрывать своих чувств, ошибок, размышлений. Рассказать все, что происходило со мной, историю моих отношений... Я был такой и был другой. А как надо на самом деле — не знаю. Вот если бы вы видели ту девочку в Дрездене.

— Сейчас, — сказал Фауст.

И мы очутились в Дрездене, в том зале, куда я забрел случайно. Заброшенный, безлюдный зал, какие бывают в знаменитых галереях, зал без прославленных полотен, — там, кажется, была выставлена современная живопись. На бархатном диванчике очень прямо сидела полная красивая женщина. Руки ее лежали на коленях, взгляд был устремлен к портрету на стене. У ног ее стояла новенькая синяя авиасумка с маркой голландской компании «KLM». Портрет изображал девочку — голодную, синюшную, с огромными испуганными глазами. Она очень прямо сидела на желтом стуле, на голове ее торчал нелепый, почти клоунский колпак, худенькие костлявые руки лежали на коленях. Я обернулся, и сходство портрета с женщиной на диванчике поразило меня. Какое-то движение света, поворот случайно выдали ее. «Портрет дочери. 1945 год», — написано было на латунной дощечке. Мимо шли посетители, обводя на ходу глазами развешанные картины, иногда задерживаясь у портрета девочки. Никто не догадывался, что это она, живая, сидит на бархатном диванчике. Разрушенный в одну ночь Дрезден, зимние ночи в развалинах, — какая жизнь разделяла портрет и эту женщину — смерть отца, эмиграция, чужбина. Спустя двадцать лет она туристкой, приехав на родину, зашла в галерею и увидела свой детский портрет.

— С чего ты взял, откуда тебе известно? — сказал Вагнер.

Я не слушал его. Я представлял: портрет попался ей на глаза случайно, она не сразу вспомнила, когда отец рисовал ее. Неужели это она? Она сидит, ища в памяти подробности, ей слышны замечания проходящих, она вдруг понимает, что говорят о ней, то есть об этой девочке, и после ее отъезда изо дня в день, годами, кто-то в этом зале будет замедлять шаг, толкать спутника — посмотри на эту девочку, — они будут заглядывать ей в глаза, где всегда будет война, страх, бомбежки, ужасная февральская ночь 1945 года в Дрездене.

Руины были расчищены, дворцы Цвингера восстановлены, светлые многоэтажные дома поднялись над Дрезденом... Отчего же грусть моя не проходит и образ этой женщины не дает мне покоя? Я же не виноват перед ней, несколько, наоборот, так почему же я ищу какие-то слова утешения или оправдания? Почему, черт возьми, мне, мне так тошно?.. Я-то при чем?

— Ты абсолютно ни при чем, — подтвердил Вагнер.

Фауст молчал. Надвинутая шляпа скрывала его лицо.

Нас было четверо

В начале осени Макс Л. приехал в Ленинград. Мы гуляли с ним по городу как старые знакомые. Под золотом спилей кружились первые желтые листья. Вечерняя заря алела в конце Кировского проспекта. Когда-то улица так и называлась улицей Красных зорь. Голубые

минареты мечети вытянулись над серым камнем домов. Ленинград блистал во всей красоте. Скупые его краски ожили, с моста открылся простор Невы, размах новых домов, отремонтированный чистый гранит набережных.

Мы пересекли пятнистые желтеющие сумерки Летнего сада с его белыми телами богинь и пошли дальше через мостики, мимо старых церквей и старых домов, где снимал квартиру Пушкин и где жил Маршак, где была моя школа, где жил Даргомыжский и Ира Галл, в которую мы все были влюблены. Любой дом здесь был для меня отмечен невидимыми мемориальными досками, легендами, датами, я знал все проходные дворы, магазинчики, трансформаторные будки. Я знал эти дома разрушенными, вернее не эти, а те, какие стояли до войны, потом их развороченные, обнаженные внутренности. Восстановленные, заново отстроенные дома успели постареть, местами облупиться. Невозможно было представить, как выглядел город сразу после блокады. Макс Л. послушно смотрел на церковь, чистенькую, свежепокрашенную, куда в сорок третьем свозили трупы, на витрины, тогда заваленные мешками, — вздыхал, но я чувствовал: он не в силах вообразить себе все это. Мне почудилось даже, что он словно бы разочарован... Порой мне самому не хватало наглядности пережитого. Чтобы он мог увидеть развалины, оценить сделанное и понять, какой город он разрушал. Но я не хотел укорять его.

И не хотел ничего смягчать.

И не хотел, чтобы он чувствовал себя стесненно и виновато.

Не хотел прикидываться радушным, все прощающим хозяином.

Мы шли по Суворовскому проспекту, широкому, чистому, весело веснушчатому от крапа палой листвы, и рядом шел я, среди сугробов. Горел разбитый госпиталь, из окон выкидывали матрасы, на них выбрасывали раненых, по проспекту девушки вели азростат заграждения. Покачиваясь, он плыл, окутанный сетями, девушки, отдыхая, висели на веревках, медленно перебирая ногами. Лица их в ранних сумерках были прозрачно-серые.

Сбоку у Макса Л. болтался фотоаппарат, а у меня противогазная сумка, и в ней сухари — мой паек, который я нес на Таврическую, в старую петербургскую квартиру с темной большой передней, уставленной высокими шкафами для гербариев, и с угловой комнатой, где жила девушка, так похожая на прекрасную Уту.

Мы с Максом Л. шли по тротуару, но я-то, я шел по узкой тропке на мостовой, потому что панель была завалена оледенелыми кучами мусора. Навстречу мне женщина тащила сани. На них лежал человек, привязанный веревкой. Голова его ватно подрагивала. Так возили тогда трупы умерших с голоду, зрелище было обычно. Я посторонился. Санки поравнялись со мной, я увидел сверкающую белую бороду и ярко-румяные щеки, немислимые в том блокадном голоде. Глаза старичка радостно блестели из-под белых бровей. От фантастичности этого зрелища я почувствовал слабость.

— Что это?

Женщина остановилась, передохнула.

— Дед-мороз.

У нее не было сил улыбаться. Где-то неподалеку устраивали елку для ребятишек, театральный мастер изготовил большого деда-мороза, и она тащит его уже несколько часов. В это время взвыли сирены воздушной тревоги, захлопали зенитки, и сразу над нами все громче загудело темнеющее небо, зашарили прожекторы. Макс Л. летел бомбить водопроводную станцию, в квартале отсюда. Мы стали с женщиной и дедом-морозом в ближнюю подворотню. Воздух завыл нарастающим воплем. Арка над нами пошатнулась.

Посыпались стекла. Штукатурка упала на лицо деду-морозу, и стеклянный глаз его звякнул и разбился.

— Вы промахнулись, — сказал я Макс Л. — Вы попали в деда-мороза и в этот дом.

Новенький, блистающий цельными широкими окнами дом выглядел выше и стройнее, чем тот. С центральным отоплением, с лифтом. Только в подъезде не было цветных витражей с рыцарем. И на втором этаже ничего не осталось от той квартиры с гербариями. О ней никто не помнил, кроме меня. Макс Л. сфотографировал этот дом.

— Как ее звали? — спросил он.

Я пожал плечами.

— Ута. Вы помните прекрасную Уту в Наумбургском соборе?

Макс Л. неопределенно кивнул.

— Мою мать убило в соборе, — сказал он. — Брухтвейнский собор в Баварии. Вам не приходилось там бывать?

— Нет, — сказал я.

В клубе Ленгорвода шел фильм «Берегись автомобиля» с участием Смоктуновского. Сквозь кусты виднелись корпуса насосных, водоочистных и прочих сооружений. Я показал Макс Л. старую водонапорную башню, в которую он никак не мог попасть.

Где-то в Таврическом саду упал сбитый немецкий самолет, где именно, я позабыл. На площадке пацаны гоняли мяч. Молодые мамы катили никелированные мальпосты, будущие мамы шептались на скамейках с будущими отцами. Макс Л. щелкал аппаратом.

— Та женщина погибла? — спросил он.

— Нет... Она сошла с ума.

Рядом с Максом Л. шел полковник-летчик в кожаной меховой куртке, под ней кресты за Францию, Норвегию, Ленинград и прочие заслуги. Впервые я увидел их совсем недавно, в лавочке, в Сан-Франциско. Полный комплект их лежал под стеклом, а на полках — генеральские фуражки, каски со свастикой, фашистские мундиры. Хозяин уговаривал нас купить — эти реликвии дорожают быстрее других.

Листья старых лип кружились над нами. Когда-то здесь стоял танцпавильон, и мы ходили с ней танцевать.

Лейтенант в полушубке, с махоркой в кармане, брезгливо разглядывал меня, нынешнего, гуляющего как ни в чем не бывало с нынешним Максом Л., обоих нас, в летних костюмчиках, в одинаковых нейлоновых рубашечках, — такие благообразные отцы семейств, любезный хозяин и его милый гость по линии Интуриста.

...Жаль, что вы не увидите белых ночей, о, белые ночи — это чудо, у нас не бывает белых ночей, да, да. Достоевский, у вас увлекаются Достоевским, завтра фонтаны Петергофа работают, основал Петр, вода уже холодная, выпить пива, у вас мало пивных, пивная далеко, у вас много читают, обратите внимание — это музей Суворова, русские церкви имеют прекрасную архитектуру, по воскресеньям все на лыжах, в метро читают, у нас нет зимы, у нас есть зима...

Полковник Макс Л. от этой болтовни хватался за пистолет; я, в полушубке, сжимал свой

лейтенантский наган. Позор, предательство, измена открывались перед нами. Двое на двое, мы с нынешним Максом Л. против нас тогдашних. Тогдашние-то между собой смертельные враги. И нас они не признают. Я пытался образумить лейтенанта. Но я гордился им. Мы все трое ненавидели чванливого, тупого, надутого пивом и прусской спесью полковника-летчика. Каждый был против каждого. В этом четырехугольнике все перепуталось. Четырехугольник не был равносторонним, не был равноправным — черт знает, какой он получался перекошенный.

— Посмотрите отсюда на Таврический дворец.

Мне приятно было, что Макс Л. нравился Ленинград. Я хотел, чтобы он полюбил этот город, так же как я любил шумный, веселый Лейпциг, и Веймар, и маленький Ильменау, затерянный в горах Тюрингии, с его студентами, рыночной площадью, домиком Гете.

Я все еще не понимал, зачем Макс Л. так настойчиво выискивает следы войны. Чего он добивается? Воронки были давно засыпаны, пустыри застроены, надписи об обстреле покрашены, осталась лишь одна на Невском — и та воспроизведена заново. Блокада экспонировалась в музее. Макс Л. мог гулять вполне спокойно, не опасаясь напоминаний.

Что я мог ему еще показать? Кладбище? Одиноких женщин? Инвалидов? Война и блокада доживали скрыто, среди старух, оставшихся без детей.

В наследственных болезнях.

И даже под землей.

До сих пор мне слышатся тревожные ночные звонки в диспетчерской. Аварийная машина мчалась к подстанции. Вылетел кабель. Его пробило где-то под землей. Вскрывали асфальт, копали траншеи, разыскивая место пробоя. Обычно то была муфта, смонтированная еще в блокаду, после обстрелов, вставки, которыми латали поврежденные кабели. От бомб и снарядов, даже упавших поодаль, изоляция трескалась, рано или поздно эти кабели пробивались. Сквозь ничтожные волосяные трещины влага не спеша, годами ползла к жилам, и наконец раздражался пробой. А то начинал оседать грунт бывших воронок. Земля тянула за собой кабели, муфты не выдерживали. Весной, когда почва оттаивала, аварии вспыхивали, подобно эпидемии. Тщетно мы пытались предусмотреть, предотвратить их. Следы блокады проступали неукоснительно. Для нас, кабельщиков, обстрел продолжался, разрывы неслышно раздавались под землей.

То же происходило и с людьми, с их артериями и сердечными мышцами. Что я мог показать Макс Л.? А именно эта бесследность войны его волновала. Как будто ему не хватало вещественных доказательств своей вины.

Он пробовал сам доискаться.

— Я знаю, что осталось. Недоверие. Вот даже вы, сознайтесь, вы не до конца верите мне?

Честно говоря, он застал меня врасплох.

— Вы разве что-нибудь чувствуете?

— Да, вы стараетесь обходить... Вы не даете волю... Вы умалчиваете... Вы щадите...

В чем-то он был прав. Верил ли я ему? Я вглядывался в себя, в самую глубь, в изначальность чувств, туда, где возникает приязнь или такая же внезапная и необъяснимая неприязнь. Туда, где в смутных глубинах души решалось: это друг, а это просто знакомый. Грустное и неясное лицо Лотты Вассер появилось передо мной. Ее глуховатый, протяжный голос. Мюллер — похожий на развороченный муравейник, наши резкие, наотмашь споры. Уж с ним-то я не

стеснялся. А Хеди, смешливая, громкая, а ребята-биологи из Дрездена? А Лиза, и ее муж, и наши долгие прогулки по старому Берлину? А Лео? А Роберт?..

У меня и мысли не возникало — верю ли я им. Они не были для меня немцами. Просто друзья, которых я люблю. Такие же, как Реваз Маргиани, Кайсын Кулиев, Мустай Карим. Когда она появляется, эта самая национальность? В каких случаях?

С Анной Зегерс, с Эрнстом Бушем я мог говорить так откровенно, как не стал бы с иными моими московскими знакомыми. Однако именно через них я полюбил Германию — вот, пожалуй, в чем они были немцами. Через них я кое-что уразумел в трагедии немецкого народа. Через них, через Генриха Белля, Кеппена, Дитера Нолля. Фашизм мне был известен лишь снаружи, они же раскрывали его изнутри. Настоящий антифашизм куда серьезнее и труднее, чем просто ненависть к фашизму.

Но было и другое. Недаром Макс Л. что-то почувствовал.

Была та парочка, немец со своей подружкой в Дубровнике.

Мы сидели в погребке. Женя читала свои стихи, и тогда этот парень включил транзистор. Включил не музыку, а какую-то немецкую передачу, специально, назло. Мы посмотрели на него, еще не понимая. Он закинул ногу на ногу и засмеялся. Женя замолчала.

— Читай, — сказали мы.

Немец усмехнулся и увеличил громкость. Радио орало в пустом погребке, лающий голос зазвучал вдруг как тогда, в сороковом. Он ликовал, этот парень, красивый, сочный, голубоглазый, со своей умело раскрашенной подружкой, похожей на Реглинду, ту, что стоит рядом с Утой.

Будь на их месте французы, русские, югославы, мы бы сочли это за обычное хулиганство. Поругались, выставили бы их, но тут злость поднялась такая жгучая, непереносимая. Я почувствовал в этой выходке именно фашистское, ненавистное гитлеровское, особый умысел. Не знаю, был ли на самом деле умысел, но я воспринял как умысел, потому что передо мной был немец. И когда Иво с трудом вытащил нас из погребка и мы поднимались по узким ступенчатым улицам Дубровника, нами стали замечаться прежде всего немцы. Бодрые, краснощекие, сентиментальные западные старушки, толстозадые парни в шортах, писклявые девицы. Все в них вызывало неприязнь — их крикливость, самоуверенность, бесцеремонность. Они вели себя как хозяева, как будто ничего не было, как будто не мужья этих одуванчиков расстреливали здесь партизан, и не их отцы, не их дяди, как будто они ни при чем. Как будто не их приятели, туристы из ФРГ, два дня назад на партизанском кладбище устроили пикник и отплясывали между могил, распевая свой шлягер.

...Удалить бы их из беломраморного Дубровника и повесить надпись «Немцам въезд воспрещен». Но тут с крепостной стены открылось море, большое, синее. Голова моя охладилась.

«Господи, так ведь это же и есть расизм, — подумал я, — когда считаешь, что человек плох, потому что он немец. Какое я право имею? Оказывается, сидело во мне это самое, застряло, как осколок с войны. Парень тот — фашист, хулиган, подонок, кто угодно, но при чем тут немцы», — твердил я себе.

— Терпеть их не могу, — сказала Женя. — Знаю, что нехорошо, гадко, и ничего не могу поделать.

Чем же мы лучше тогда каких-нибудь черносотенцев, американских расистов, думал я, так же нельзя себя распускать. И как могло то низменное, стыдное чувство быть таким сильным? И

почему раскаянье не мучает меня, то есть разумом я понимаю, что нехорошо, что надо уничтожить это в себе, но ведь не мучаюсь, не страдаю.

Ох, как это соблазнительно возненавидеть другую нацию, особенно когда есть личные, такие уважительные причины. Необязательно ненавидеть, можно презирать, брезгливо морщиться, можно не доверять, вежливо улыбаться, обходя щекотливые вопросы...

А девица того немца была похожа на Реглинду, младшую сестру Уты. И моя девушка была похожа на Уту. У меня не осталось ее фотографий, поэтому я купил в Наумбургском соборе фотографию Уты. Прекрасная Ута и ее младшая сестра Реглинда работы неизвестного мастера XIII века.

Длинные руки Макса Л. помогали его скудному русскому языку — множество жестов, каждым пальцем отдельно, — ему необходимо было что-то ухватить, извлечь, отделить.

Улики... Он искал улики. Его обескураживало, что к ним отнеслись пренебрежительно. Суду не хватало улик. Странная пьеса разыгрывалась передо мной.

Мы сидели в переполненном зале. На сцене под деревянным распятием расположились присяжные и судья в парике. Подсудимый яростно запирался. Поначалу пьеса казалась похожей на другие пьесы и фильмы. Защитник доказывал, что подсудимый всего лишь солдат, который исполнял чужие приказания. Прокурор умело расправлялся с этой знаменитой формулой. Он искусно отделял солдата от командира, приказ от выбора: внутри приказа для командира всегда есть выбор. Свидетели читали документы, показывали фотографии. Непонятно, откуда взялись фотографии; судя по камзолам и шпагам, действие происходило давно. Двенадцать присяжных походили на двенадцать наумбургских фигур, среди них была Ута и ее супруг, маркграф Тюрингский Эккехард, и печальный Герман. Посредине сидел судья, узколицый, чем-то напоминающий Гете.

Постепенно виновность подсудимого выяснялась. Преступление изобиловало подробностями столь гнусными, что кое-кто в зале не выдерживал, уходил. Защитник был удручен. Подсудимый слушал речь прокурора с ужасом, так же как и весь зал. И когда судья предоставил ему последнее слово, он растерянно оглянулся, как будто речь шла о ком-то другом. Позади стояли только стражники.

— Значит, это был я, — сказал подсудимый.

С каким-то самозабвением он признался во всем; единственное, чем он оправдывался, это непониманием, он не понимал, что творил. Неподвижное костяное лицо судьи впервые дрогнуло, нарушая все правила, он спросил, понимает ли теперь подсудимый, как это было и почему он так делал. Подсудимый покачал головой — и теперь он не понимает. Все встали, суд удалился на совещание.

Прошел час, другой, суд не возвращался. Публика стала расходиться. Когда подсудимый поднял голову, в зале осталось совсем мало народу и конвоиров уже не было. Пришел сторож и начал гасить свечи. Подсудимый спросил, где же суд. Сторож не знал. Тогда подсудимый вскочил, вышел из-за барьера, его не остановили; он двинулся к комнате, куда удалился суд, постучал, никто не ответил. Он распахнул дверь. Комната была пуста. Приговора не будет. Как же так, он оправдан? Но он знает, что оправдать его невозможно. Он ищет судью, он требует наказания. Они не имеют права нарушить закон, по закону ему положено наказание. Какое бы ни было наказание — оно расчет, оно возможность расквитаться.

Но в том-то и мучение, что рассчитаться нельзя, приговора нет... Вина установлена, доказана, и нет приговора.

— Как вам понравилась пьеса? — спросил Макс Л.

— Притча. Причем сомнительная. Раз нет наказания, это значит безнаказанность?

— Совсем наоборот, из-за этого в глазах людей он всегда остается преступником, ему нельзя доверять, поскольку он не искупил...

— Послушайте, нам-то с вами зачем разыгрывать пьесу, — сказал я. — У меня нет права вам не доверять. Вы могли бы давно перейти на Запад, если б хотели. Я вам верю хотя бы оттого, что вас это все мучает.

— При чем тут Запад, — с силой сказал Макс Л. — Разве можно все мерить переходом на Запад? Как будто там, в ФРГ, нет честных людей.

— Для вас этот переход был бы отступлением.

— Я не о том. Я про недоверие. Ведь если нам не доверяют, значит, нас отталкивают. А куда, к чему отталкивают — об этом вы задумывались? И как бы вы ни уверяли меня, мне всегда будет казаться... Да и как я могу требовать, вы, если бы и захотели, не сможете простить...

Рука его на мгновение застыла, вцепившись в воздух, и что-то отозвалось во мне, словно я прикоснулся к тому, что годами тлело в душе этого человека, нечто такое наболелое, что и выразить, тем более передать другим» людям не представлялось никакой возможности.

Трудно нам было; как бы мы ни старались с ним, вряд ли сумеем мы до конца преодолеть то, что стоит между нами, так это и останется при нас, с тем мы, наверное, и уйдем из жизни.

В полвосьмого, как и договорились, у пруда мы встретились с Леной и Костей, которым я с утра поручил Вилли, младшего сына Макса Л. Они показывали Вилли город. У них, пятнадцатилетних, был свой город, где блокада и война были отнесены к истории, вместе со взятием Зимнего, «Авророй», Пушкином, Ломоносовом. В их городе был Эрмитаж, «Комета» на подводных крыльях, стадион Кирова, Костина гитара, кафе «Север», Зоосад, где Лена выхаживала зебру, новая линия метро, — кто его знает, что еще там было.

Мы зашли в буфет, заказали сосиски, чай с лимоном и немного водки, так что на каждого пришлось по рюмке. Лена поинтересовалась, как мы проводили время.

Портрет Уты

— А что смотреть на Таврической? — удивилась она, и быстрые воробьиные глаза ее на скуластом лице округлились, совсем как у покойного ее отца.

Ей было два года, когда он умер, она не помнила ни его костылей, ни военных песен, ни его обожженных рук.

— На Таврической улице... — Я медлил, соображая, как бы почестнее выйти из положения.

И тут Макс Л., черт бы побрал его искренность, сказал:

— Я бомбил этот район во время войны.

Почему-то они, все трое, посмотрели не на него, а на меня. Как будто моя физиономия могла им разъяснить услышанное, как будто я должен им подсказать, Вилли — и тот смотрел с напряженным ожиданием. А что подсказать? Не хватало еще, чтобы они меня спросили: как

это могло произойти? — что «это»? — Ну, вообще — фашизм, и война, и Гитлер, и Освенцим. Они обожали подобные вопросы. Впрочем, когда они их не задавали, было еще хуже.

Если б я мог из своей путаной истории отношений с Максом Л. и с другими немцами, из истории, где были промахи, заблуждения, предрассудки, — вывести какую-то формулу. Надежную и общую, пригодную для той жизни, в которой им предстоит жить рядом с неграми, корейцами, китайцами, американцами, в мире, перемешанном куда гуще, чем наш, где фашистское будет без свастики, коричневое прикинется голубым, Освенцим станет такой же древней историей, как Тауэр или казематы Петропавловской крепости.

В огромных залах музея Освенцима за стеклами лежала гора помазков, гора очков, гора протезов, высокая гора обуви. Меня удивил одинаково серовато-пыльный цвет обуви — этих тапочек, туфель, штиблет, сандалий. Краски исчезли. Я сообразил, что прошло почти четверть века, кожа истлевает. Гора волос тоже поблекла, волосы превращаются в тлен, скоро придется все тут заменять декорацией, фотографиями.

Если б я мог вывести формулу — такую, чтобы Освенцим не превращался в музей. Чтобы все эти экспонаты, камеры, печи оставались угрозой.

Но вместо формулы мои размышления оканчивались новыми вопросами.

Макс Л. поднял рюмку. Голос его звучал сухо:

— Я полагаю, что отныне мы с вами вместе будем бороться с фашизмом.

Я чувствовал, как ему мешает мысль о том, что ему не верят, слова его становились еще казенней.

— История не должна повториться, — он взглянул на меня, запнулся. — И также ради Уты...

Он сказал это тихо, бесцветно. Мы чокнулись.

— Какой Уты? — спросила Лена.

Я достал из бумажника фотографию.

— Знаю, это в Наумбургском соборе, — сказал Вилли. — Нас туда возили.

Интересно, что Вилли был заодно с ними, ничто не изменилось в их отношениях, и потом, когда они шли впереди нас по улице, держась за руки, в стеганых куртках с одинаково заросшими затылками, меня удивляло и радовало, что они никак не выделяли Вилли. Они перебивали друг друга, мешая немецкие, русские, английские слова, смеясь оговоркам, иногда чуть озабоченно оглядываясь на нас, может быть чувствуя, как мы завидуем их свободе.

Мы шли по Таврической. В сером камне дома возникали черты Уты, ее прекрасное лицо. Я подумал, что наумбургский мастер никогда не видел ни маркграфини Уты, ни ее супруга Эккехарда, ни Реглинды. Они жили задолго до него. Тогда не существовало ни фотографий, ни портретов. Какой она была на самом деле, Ута? Может быть, он изобразил женщину, которую любил. Поэтому она так походка на мою Уту. Мы вместе с ним любили одну женщину...